

КРД  
О 534

# О ЛЕНИНЕ

---

1945

В- именно сейчас необходимость, когда  
и должны поднять еще больше производитель-  
ее ность труда, когда мы должны еще больше  
ль беречь колхозное имущество. Такой вопрос  
т- в наш устав сельскохозяйственной артели  
эм надо внести.

те Теперь в отпущенные школы. У нас здесь  
е- очень благополучно. Правда, мы в на-  
е- шем районе охватили всех детей школьного  
ет возраста учебой, но школа наша имеет су-  
и мы недостаточное обращали внимания  
щ- учительские кадры, на поднятие их квали-  
из фикации. Наша партийная пятихатская  
о- организация здесь мало помогала школе, и  
у- мы видим, что школа у нас начинает от-  
и- ставать от тех требований, которые к ней  
и- предъявляются. Имеются недостатки в про-  
и- граммах, в преподавании. Часть учителей  
и- ства имеет низкую квалификацию, а от-  
в- сюда страдает и само воспитание детей.  
и- Напрямер возьмем семейную десяти-  
л- летку. Копчают ее наши дети, а счетовод-  
е- ства в колхозах повести не могут, трактора  
и- даже окончившие десятилетку не знают.  
е- Разве нам нужна такая школа теперь,  
е- когда мы проводим индустриализацию сель-  
е- ского хозяйства и проводим очень быстрыми  
о- темпами? Нужно серьезно подумать Нар-  
е- кампсусу над тем, чтобы окончивший школу  
е- знал счетоводство. Счетоводство — это не  
е- повор, учет — это большое дело, нужно,  
и- чтобы окончивший десятилетку знал трак-  
е- тор. Здесь имеется недооценка со стороны  
е- органов Наркомпреса, у которых, по-мое-  
и- му, недостаточно повернуть мозги в сто-  
е- рону перестройки школы. (С места: «Пра-  
е- вильно!») Надо строить школы нового типа

*Handwritten signature and initials.*

1099

Книга должна быть  
возвращена не позже  
указанного здесь срока

---

~~6665-30/15~~  
853810/5  
6814-31/10

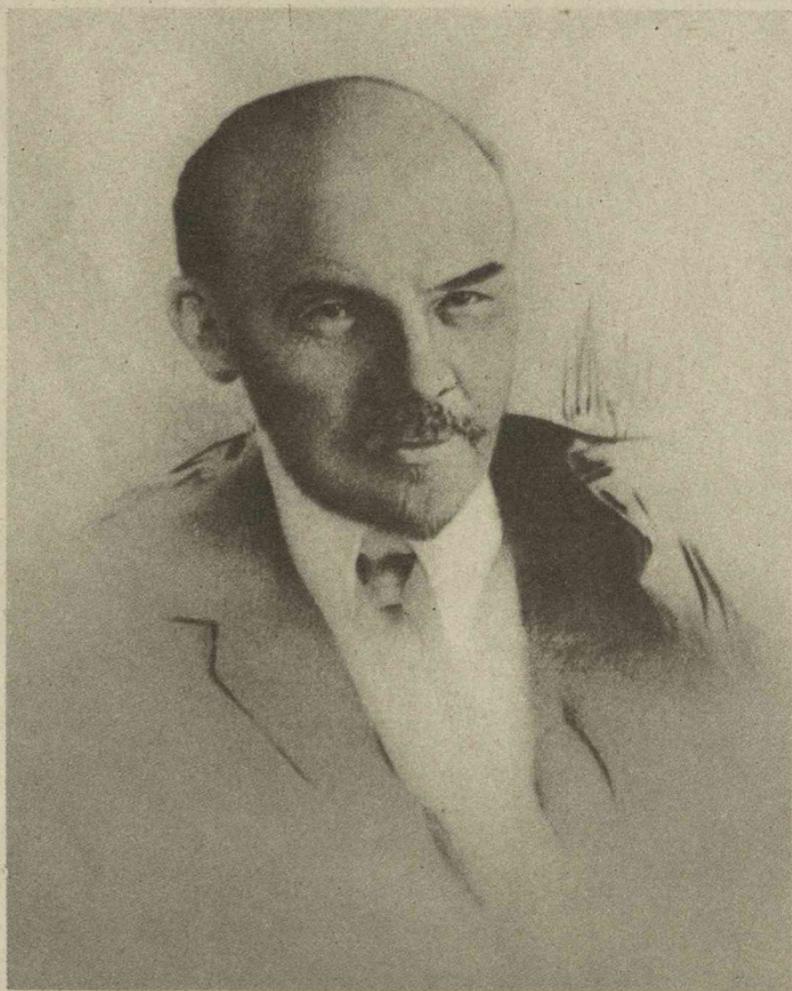
---

Колич. предыд. выдач \_\_\_\_\_

15







Кв

С-232

О-534

---

---

# О ЛЕНИНЕ

СБОРНИК  
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

138892

О Г И З

---

Государственное издательство  
художественной литературы  
Москва 1945



*Составил*  
*С. М. Петров*

## И. СТАЛИН О ЛЕНИНЕ

*Речь на вечере кремлёвских курсантов  
28 января 1924 года*

Товарищи! Мне сказали, что у вас тут устроен вечер воспоминаний о Ленине, а я приглашён на вечер в качестве одного из докладчиков. Я полагаю, что нет необходимости представить связный доклад о деятельности Ленина. Я думаю, что было бы лучше ограничиться сообщением ряда фактов, отмечающих некоторые особенности Ленина, как человека и как деятеля. Между этими фактами, может быть, и не будет внутренней связи, но это не может иметь решающего значения для того, чтобы получить общее представление о Ленине. Во всяком случае, я не имею возможности в данном случае дать вам больше того, что обещал выше.

### ГОРНЫЙ ОРЁЛ

Впервые я познакомился с Лениным в 1903 г. Правда, это знакомство было не личное, а заочное, в порядке переписки. Но оно оставило во мне неизгладимое впечатление, которое не покидало меня за всё время моей работы в партии. Я находился тогда в Сибири в ссылке. Знакомство с революционной деятельностью Ленина с конца 90-х годов и особенно после 1901 года, после издания «Искры», привело меня к убеждению, что мы имеем в лице Ленина человека необыкновенного. Он не был тогда в моих глазах

простым руководителем партии, он был её фактическим создателем, ибо он один понимал внутреннюю сущность и неотложные нужды нашей партии. Когда я сравнивал его с остальными руководителями нашей партии, мне всё время казалось, что соратники Ленина — Плеханов, Мартов, Аксельрод и другие — стоят ниже Ленина целой головой, что Ленин в сравнении с ними не просто один из руководителей, а руководитель высшего типа, горный орёл, не знающий страха в борьбе и смело ведущий вперёд партию по неизведанным путям русского революционного движения. Это впечатление так глубоко запало мне в душу, что я почувствовал необходимость написать о нём одному своему близкому другу, находившемуся тогда в эмиграции, требуя от него отзыва. Через несколько времени, будучи уже в ссылке в Сибири, — это было в конце 1903 года, — я получил восторженный ответ от моего друга и простое, но глубоко содержательное письмо Ленина, которого, как оказалось, познакомил мой друг с моим письмом. Письмецо Ленина было сравнительно небольшое, но оно давало смелую, бесстрашную критику практики нашей партии и замечательно ясное и сжатое изложение всего плана работы партии на ближайший период. Только Ленин умел писать о самых запутанных вещах так просто и ясно, сжато и смело — когда каждая фраза не говорит, а стреляет. Это простое и смелое письмецо ещё больше укрепило меня в том, что мы имеем в лице Ленина горного орла нашей партии. Не могу себе простить, что это письмо Ленина, как и многие другие письма, по привычке старого подпольщика, я предал сожжению.

С этого времени началось моё знакомство с Лениным.

## СКРОМНОСТЬ

Впервые я встретился с Лениным в декабре 1905 г. на конференции большевиков в Таммерфорсе (в Финляндии). Я надеялся увидеть горного орла нашей партии, великого человека, великого не только политически, но, если угодно, и физически, ибо Ленин рисовался в моём воображении в виде великана, статного и представительного. Каково же было моё разочарование, когда я увидел самого обыкновенного чело-

века, ниже среднего роста, ничем, буквально ничем не отличающегося от обыкновенных смертных...

Принято, что «великий человек» обычно должен запаздывать на собрания, с тем, чтобы члены собрания с замиранием сердца ждали его появления, причём перед появлением великого человека члены собрания предупреждают: «тсс... тише... он идёт». Эта обрядность казалась мне не лишней, ибо она импонирует, внушает уважение. Каково же было моё разочарование, когда я узнал, что Ленин явился на собрание раньше делегатов и, забившись где-то в углу, по-простецки ведёт беседу, самую обыкновенную беседу с самыми обыкновенными делегатами конференции. Не скрою, что это показалось мне тогда некоторым нарушением некоторых необходимых правил.

Только впоследствии я понял, что эта простота и скромность Ленина, это стремление остаться незаметным или, во всяком случае, не бросаться в глаза и не подчёркивать своё высокое положение, — эта черта представляет одну из самых сильных сторон Ленина, как нового вождя новых масс, простых и обыкновенных масс глубочайших «низов» человечества.

## СИЛА ЛОГИКИ

Замечательны были две речи Ленина, произнесённые на этой конференции: о текущем моменте и об аграрном вопросе. Они, к сожалению, не сохранились. Это были вдохновенные речи, приведшие в бурный восторг всю конференцию. Необычайная сила убеждения, простота и ясность аргументации, короткие и всем понятные фразы, отсутствие рисовки, отсутствие головокругительных жестов и эффектных фраз, бьющих на впечатление, — всё это выгодно отличало речи Ленина от речей обычных «парламентских» ораторов.

Но меня пленила тогда не эта сторона речей Ленина. Меня пленила та непреодолимая сила логики в речах Ленина, которая несколько сухо, но зато основательно овладевает аудиторией, постепенно электризует её и потом берёт её в плен, как говорят, без остатка. Я помню, как говорили тогда многие из делегатов: «Логика в речах Ленина — это какие-то всемогущие щупальцы, которые охватывают тебя со всех сторон

клещами и из объятий которых нет мочи вырваться: либо сдавайся, либо решайся на полный провал».

Я думаю, что эта особенность в речах Ленина является самой сильной стороной его ораторского искусства.

### БЕЗ ХНЫКАНИЯ

Второй раз встретил я Ленина в 1906 году на Стокгольмском съезде нашей партии. Известно, что на этом съезде большевики остались в меньшинстве, потерпели поражение. Я впервые видел тогда Ленина в роли побеждённого. Он ни на иоту не походил на тех вождей, которые хныкают и унывают после поражения. Наоборот, поражение превратило Ленина в сгусток энергии, вдохновляющий своих сторонников к новым боям, к будущей победе. Я говорю о поражении Ленина. Но какое это было поражение? Надо было поглядеть на противников Ленина, победителей на Стокгольмском съезде — Плеханова, Аксельрода, Мартова и других: они очень мало походили на действительных победителей, ибо Ленин в своей беспощадной критике меньшевизма не оставил на них, как говорится, живого места. Я помню, как мы, делегаты-большевики, сбившись в кучу, глядели на Ленина, спрашивая у него совета. В речах некоторых делегатов сквозили усталость, уныние. Помнится, как Ленин в ответ на такие речи едко процедил сквозь зубы: «Не хныкайте, товарищи, мы наверняка победим, ибо мы правы». Ненависть к хныкающим интеллигентам, вера в свои силы, вера в победу — вот о чём говорил тогда с нами Ленин. Чувствовалось, что поражение большевиков является временным, что большевики должны победить в ближайшем будущем.

«Не хныкать по случаю поражения» — это та самая особенность в деятельности Ленина, которая помогала ему сплачивать вокруг себя преданную до конца и верящую в свои силы армию.

### БЕЗ КИЧЛИВОСТИ

На следующем съезде в 1907 году в Лондоне большевики оказались победителями. Я впервые видел тогда Ленина в роли победителя. Обычно победа кружит голову иным вождям, делает их заносчивыми и

кичливыми. Чаще всего в таких случаях начинают торжествовать победу, почивать на лаврах. Но Ленин ни на иоту не походил на таких вождей. Наоборот, именно после победы становился он особенно бдительным и настороженным. Помнится, как Ленин настойчиво внушал тогда делегатам: «первое дело — не увлекаться победой и не кичиться; второе дело — закрепить за собой победу; третье — добить противника, ибо он только побит, но далеко ещё не добит». Он едко высмеивал тех делегатов, которые легкомысленно уверяли, что «котыне с меньшевиками покончено». Ему нетрудно было доказать, что меньшевики всё ещё имеют корни в рабочем движении, что с ними надо бороться умеючи, всячески избегая переоценки своих сил и, особенно, недооценки сил противника.

«Не кичиться победой» — это та самая особенность в характере Ленина, которая помогала ему трезво взвешивать силы противника и страховать партию от возможных неожиданностей.

## ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ

Вожди партии не могут не дорожить мнением большинства своей партии. Большинство — это сила, с которой не может не считаться вождь. Ленин это понимал не хуже, чем всякий другой руководитель партии. Но Ленин никогда не становился пленником большинства, особенно, когда это большинство не имело под собой принципиальной основы. Бывали моменты в истории нашей партии, когда мнение большинства или минутные интересы партии приходили в конфликт с коренными интересами пролетариата. В таких случаях Ленин, не задумываясь, решительно становился на сторону принципиальности против большинства партии. Более того, — он не боялся выступать в таких случаях буквально один против всех, рассчитывая на то, — как он часто говорил об этом, — что: «принципиальная политика есть единственно правильная политика».

Особенно характерны в этом отношении два следующих факта.

*Первый факт.* Период 1909—1911 гг., когда партия, разбитая контр-революцией, переживала полное разложение. Это был период безверия в партию, период

повального бегства из партии не только интеллигентов, но отчасти и рабочих, период отрицания подполья, период ликвидаторства и развала. Не только меньшевики, но и большевики представляли тогда целый ряд фракций и течений, большей частью оторванных от рабочего движения. Известно, что в этот именно период возникла идея полной ликвидации подполья и организации рабочих в легальную, либеральную столыпинскую партию. Ленин был тогда единственным, который не поддавался общему поветрию и высоко держал знамя партийности, собирая разрозненные и разбитые силы партии с удивительным терпением и с небывалым упорством, воюя против всех и всяких антипартийных течений внутри рабочего движения, отстаивая партийность с небывалым мужеством и с невиданной настойчивостью.

Известно, что в этом споре за партийность Ленин оказался потом победителем.

*Второй факт.* Период 1914—1917 гг., период разгара империалистской войны, когда все, или почти все, социал-демократические и социалистические партии, поддавшись общему патриотическому угару, отдали себя на услужение отечественному империализму. Это был период, когда II Интернационал склонил свои знамёна перед капиталом, когда перед шовинистической волной не устояли даже такие люди, как Плеханов, Каутский, Гэд и другие. Ленин был тогда единственным, или почти единственным, который поднял решительную борьбу против социал-шовинизма и социал-пацифизма, разоблачал измену Гэдов и Каутских и клеймил половинчатость межеумочных «революционеров». Ленин понимал, что он имеет за собой незначительное меньшинство, но это не имело для него решающего значения, ибо он знал, что единственно верной политикой, имеющей за собой будущность, является политика последовательного интернационализма, ибо он знал, что принципиальная политика есть единственно правильная политика.

Известно, что и в этом споре за новый Интернационал Ленин оказался победителем.

«Принципиальная политика есть единственно правильная политика» — это та самая формула, при помощи которой Ленин брал приступом новые «неприступные» позиции, завоёвывая на сторону революционного марксизма лучшие элементы пролетариата.

## ВЕРА В МАССЫ

Теоретики и вожди партий, знающие историю народов, проштудировавшие историю революций от начала до конца, бывают иногда одержимы одной неприличной болезнью. Болезнь эта называется боязнью масс, неверием в творческие способности масс. На этой почве возникает иногда некий аристократизм вождей в отношении к массам, не искушённым в истории революций, но призванным ломать старое и строить новое. Боязнь, что стихия может разбушеваться, что массы могут «поломать много лишнего», желание разыграть роль мамки, старающейся учить массы по книжкам, но не желающей учиться у масс, — такова основа этого рода аристократизма.

Ленин представлял полную противоположность таким вождям. Я не знаю другого революционера, который так глубоко верил бы в творческие силы пролетариата и в революционную целесообразность его классового инстинкта, как Ленин. Я не знаю другого революционера, который умел бы так беспощадно бичевать самодовольных критиков «хаоса революции» и «вакханалии самочинных действий масс», как Ленин. Помнится, как во время одной беседы, в ответ на замечание одного из товарищей, что «после революции должен установиться нормальный порядок», Ленин саркастически заметил: «Беда, если люди, желающие быть революционерами, забывают, что наиболее нормальным порядком в истории является порядок революций».

Отсюда пренебрежительное отношение Ленина ко всем тем, которые старались свысока смотреть на массы и учить их по книжкам. Отсюда неустанная проповедь Ленина: учиться у масс, осмыслить их действия, тщательно изучать практический опыт борьбы масс.

Вера в творческие силы масс — это та самая особенность в деятельности Ленина, которая давала ему возможность осмыслить стихию и направлять её движение в русло пролетарской революции.

## ГЕНИЙ РЕВОЛЮЦИИ

Ленин был рождён для революции. Он был поистине гением революционных взрывов и величайшим мастером революционного руководства. Никогда он не

чувствовал себя так свободно и радостно, как в эпоху революционных потрясений. Этим я вовсе не хочу сказать, что Ленин одинаково одобрял всякое революционное потрясение или что он всегда и при всяких условиях стоял за революционные взрывы. Нисколько. Этим я хочу лишь сказать, что никогда гениальная прозорливость Ленина не проявлялась так полно и отчётливо, как во время революционных взрывов. В дни революционных поворотов он буквально расцветал, становился ясновидцем, предугадывал движение классов и вероятные зигзаги революции, видя их, как на ладони. Недаром говорится в наших партийных кругах, что «Ильич умеет плавать в волнах революции, как рыба в воде».

Отсюда «поразительная» ясность тактических лозунгов и «головкружительная» смелость революционных замыслов Ленина.

Вспоминаются два особенно характерных факта, отмечающих эту особенность Ленина.

*Первый факт.* Период перед Октябрьским переворотом, когда миллионы рабочих, крестьян и солдат, подгоняемые кризисом в тылу и на фронте, требовали мира и свободы; когда генералитет и буржуазия готовили военную диктатуру в интересах «войны до конца»; когда всё так называемое «общественное мнение», все так называемые «социалистические партии» стояли против большевиков, третируя их «немецкими шпионами»; когда Керенский пытался загнать в подполье — и отчасти уже успел загнать — партию большевиков; когда всё ещё могучие дисциплинированные армии австро-германской коалиции стояли против наших усталых и разлагавшихся армий, а западноевропейские «социалисты» благополучно пребывали в блоке со своими правительствами в интересах «войны до полной победы»...

Что значило поднять восстание в такой момент? Поднять восстание в такой обстановке — это значит поставить всё на карту. Но Ленин не боялся рискнуть, ибо он знал, видел своим ясновидящим взором, что восстание неизбежно, что восстание победит, что восстание в России подготовит конец империалистской войны, что восстание в России всколыхнёт измученные массы Запада, что восстание в России превратит войну империалистскую в войну гражданскую, что восстание даст Республику Советов, что Республика Советов послужит оплотом революционного движения во всём мире.

Известно, что это революционное предвидение Ленина сбылось впоследствии с невиданной точностью.

*Второй факт.* Первые дни после Октябрьской революции, когда Совет Народных Комиссаров пытался заставить мятежного генерала, главнокомандующего Духонина, прекратить военные действия и открыть переговоры с немцами о перемирии. Помнится, как Ленин, Крыленко (будущий главнокомандующий) и я отправились в Главный штаб в Питере к проводу для переговоров с Духониным. Минута была жуткая. Духонин и Ставка категорически отказались выполнить приказ Совнаркома. Командный состав армии находился целиком в руках Ставки. Что касается солдат, то неизвестно было, что скажет 12-миллионная армия, подчинённая так называемым армейским организациям, настроенным против советской власти. В самом Питере, как известно, назревало тогда восстание юнкеров. Кроме того, Керенский шёл на Питер войной. Помнится, как после некоторой паузы у проводы лицо Ленина озарилось каким-то необычайным светом. Видно было, что он уже принял решение. «Пойдём на радиостанцию, — сказал Ленин, — она нам сослужит пользу: мы сместим в специальном приказе генерала Духонина, назначим на его место главнокомандующим тов. Крыленко и обратимся к солдатам через голову командного состава с призывом — окружить генералов, прекратить военные действия, связаться с австро-германскими солдатами и взять дело мира в свои собственные руки».

Это был «скачок в неизвестность». Но Ленин не боялся этого «скачка», наоборот, он шёл ему навстречу, ибо он знал, что армия хочет мира, и она завоюет мир, сметая по пути к миру все и всякие препятствия, ибо он знал, что такой способ утверждения мира не пройдёт даром для австро-германских солдат, что он развяжет тягу к миру на всех без исключения фронтах.

Известно, что это революционное предвидение Ленина также сбылось впоследствии со всей точностью.

Гениальная прозорливость, способность быстро схватывать и разгадывать внутренний смысл надвигающихся событий — это то самое свойство Ленина, которое помогало ему наметить правильную стратегию и ясную линию поведения на поворотах революционного движения.

М. ГОРЬКИЙ

В. И. ЛЕНИН

*Отрывки*

Писать его портрет — трудно. Ленин, внешне, весь в словах, как рыба в чешуе. Был он прост и прям, как всё, что говорилось им.

Героизм его почти совершенно лишён внешнего блеска, его героизм — это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убеждённого в возможности на земле социальной справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжёлой работы для счастья людей.

...Я и сейчас вот всё ещё хорошо вижу голые стены смешной своим убожеством деревянной церкви на окраине Лондона, стрельчатые окна небольшого, узкого зала, похожего на классную комнату бедной школы. Это здание напоминало церковь только извне, а внутри её — полное отсутствие предметов культа, и даже невысокая кафедра проповедника помещалась не впереди, в глубине зала, а у входа в него, между двух дверей.

До этого года я не встречал Ленина, да и читал его не так много, как бы следовало. Но то, что удалось мне прочитать, а особенно восторженные рассказы товарищей, которые лично знали его, потянуло меня к нему с большой силой. Когда нас познакомили, он, крепко стиснув мою руку, прощупывая меня зоркими глазами, заговорил тоном старого знакомого, шутливо:

— Это хорошо, что вы приехали! Вы ведь драки любите? Здесь будет большая драчка.

Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то не хватало в нём. Картавит и руки сунул куда-то подмышки, стоит фертом. И вообще, весь — как-то слишком прост, не чувствуется в нём ничего от «вождя». Я — литератор. Профессия обязывает меня подмечать мелочи, эта обязанность стала привычкой, иногда — уже надоедливой.

Когда меня «подводили» к Г. В. Плеханову, он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел строго, скучновато, как смотрит утомлённый своими обязанностями учитель ещё на одного нового ученика. Он сказал мне весьма обычную фразу: «Я поклонник вашего таланта». Кроме этого, он не сказал ничего, что моя память удержала бы. И на протяжении всего съезда ни у него, ни у меня не явилось желания поговорить «по душам».

А этот лысый, картавый, плотный, крепкий человек, потирая одною рукой сократовский лоб, дёргая другою мою руку, ласково поблёскивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать»; оказалось, что он прочитал её в рукописи, взятой у И. П. Ладыжникова. Я сказал, что торопился написать книгу, но — не успел объяснить, почему торопился, — Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя.

«Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент. Затем он деловито осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила книгу русская и американская цензура, а узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала поморщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкновенным смехом; смех его привлёк рабочих, — подошёл, кажется, Фома Уральский и ещё человека три.

Я был настроен очень празднично, я находился в среде трёх сотен отборных партийцев, узнал, что они посланы на съезд полутораста тысячами организованных рабочих, я видел перед собою всех лидеров партии, старых революционеров — Плеханова, Аксельрода, Дейча. Праздничное моё настроение было вполне

естественно и будет понятно читателю, если я скажу, что за два года, прожитых мною вне родины, обычное самочувствие моё сильно понизилось.

И — вдруг, точно в сказке, я на съезде Российской социал-демократической партии. Конечно — праздник!

Но праздновал я только до первого заседания, до споров по вопросу о «порядке дня». Свирепость этих споров сразу охладила мои восторги, и не столько тем, что я почувствовал, как резко расколота партия на реформаторов и революционеров, — это я знал с 1903 года, — а враждебным отношением реформаторов к В. И. Ленину. Оно просачивалось и брызгало сквозь их речи, как вода под высоким давлением сквозь старую пожарную «кишку».

Не всегда важно — что говорят, но всегда важно — как говорят. Г. В. Плеханов в сюртуке, застёгнутом на все пуговицы, похожий на протестантского пастора, открывая съезд, говорил, как законоучитель, уверенный, что его мысли неоспоримы, каждое слово — драгоценно, так же как и пауза между словами. Очень искусно он развешивал в воздухе над головами съездовцев красиво закруглённые фразы, и когда на скамьях большевиков кто-нибудь шевелил языком, перешёптываясь с товарищем, почтенный оратор, сделав маленькую паузу, вонзал в него свой взгляд, точно гвоздь.

Одна из пуговиц на его сюртуке была любима Плехановым больше других, он её ласково и непрерывно гладил пальцем, а во время паузы прижимал её, точно кнопку звонка, — можно было думать, что именно этот нажим и прерывает плавное течение речи. На одном из заседаний Плеханов, собираясь ответить кому-то, скрестил руки на груди и громко, презрительно произнёс:

Х-хе!

Это вызвало смех среди рабочих-большевиков. Г. В. поднял брови, и у него побледнела щека; я говорю: щека, потому что я сидел сбоку кафедры и видел лица ораторов в профиль.

Во время речи Г. В. Плеханова в первом заседании на скамьях большевиков чаще других шевелился Ленин, — то съезжаясь, как бы от холода, то расши-

рясь, точно ему становилось жарко; засовывал пальцы куда-то подмышки себе, потирал подбородок, встряхивая светлой головой. А когда Плеханов заявил, что «ревизионистов в партии нет», Ленин согнулся, лысина его покраснела, плечи затряслись в беззвучном смехе, рабочие, рядом с ним и сзади его, тоже улыбались, а из конца зала кто-то угрюмо и громко спросил:

— А по ту сторону — какие сидят?

Коротенький Фёдор Дан говорил тоном человека, которому подлинная истина приходится родной дочерью, он её родил, воспитал и всё ещё воспитывает. Сам же он, Фёдор Дан, является совершенным воплощением Карла Маркса, а большевики — недоучки, неприличные ребята, что особенно ясно из их отношения к меньшевикам, среди которых находятся «все выдающиеся теоретики марксизма», сказал он.

— Вы — не марксисты, — пренебрежительно говорил он, — нет, вы не марксисты! — И толкал в воздух, направо, жёлтым кулаком.

Кто-то из рабочих осведомился у него:

— А когда вы опять пойдёте чай пить с либералами?

Не помню, выступал ли на первом заседании Мартов. Этот удивительно симпатичный человек говорил юношески пламенно, и казалось, что он особенно глубоко чувствует драму раскола, боль противоречий.

Он весь содрогался, качался, судорожно расстёгивал воротник крахмальной рубашки, размахивал руками; обшлага, выскакивая из рукава пиджака, закрывали ему кисть руки, он высоко поднимал руку и тряс ею, чтобы водрузить обшлаг на его законное место. Мне казалось, что Мартов не доказывает, а упрощает, умоляет: раскол необходимо изжить, партия слишком слаба для того, чтобы разбиваться на две, рабочий прежде всего нуждается в «свободах», надобно поддерживать душу. Иногда его первая речь звучала почти истерически, обилие слов делало её непонятной, а сам оратор вызывал впечатление тяжёлое. В конце речи и как будто вне связи её, всё-таки «боевым» тоном, он всё так же пламенно стал кричать против боевых дружин и вообще работы, направленной к подготовке вооружённого восстания. Хорошо помню, как на скамьях большевиков кто-то изумлённо воскликнул:

— Вот те и раз!

Повторяю: не уверен, что Мартов говорил на первом заседании, я упомянул о нём только для того, чтоб рассказать, *как* говорили.

После его речи рабочие в помещении перед залом заседания угрюмо беседовали:

— Вот вам и Мартов! А «искрист» был!

— Линяют товарищи интеллигенты.

Красиво, страстно и резко говорила Роза Люксембург, отлично владея оружием иронии. Но вот поспешно взошёл на кафедру Владимир Ильич, картаво произнёс «товарищи». Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через минуту я, как и все, был «поглощён» его речью. Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто. Этот не пытался сочинять красивые фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко обнажая его точный смысл. Очень трудно передать необычное впечатление, которое он вызывал.

Его рука, протянутая вперёд, и немного поднятая вверх ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая фразы противников, заменяя их вескими положениями, доказательствами права и долга рабочего класса итти своим путём, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией, — всё это было необыкновенно, и говорилось им, Лениным, как-то не от себя, а, действительно, по воле истории. Слитность, законченность, прямота и сила его речи, весь он на кафедре, — точно произведение классического искусства; всё есть и ничего лишнего, никаких украшений, а если они были — их не видно, они так же естественно необходимы, как два глаза на лице, пять пальцев на руке.

По счёту времени он говорил меньше ораторов, которые выступали до него, а по впечатлению — значительно больше; не один я чувствовал это, сзади меня восторженно шептали:

— Густо говорит...

Так оно и было; каждый его довод развёртывался сам собою, силою, заключённой в нём.

Меньшевики, не стесняясь, показывали, что речь Ленина неприятна им, а сам он — более чем неприятен. Чем убедительнее он доказывал необходимость для партии подняться на высоту революционной тео-

рии для того, чтобы всесторонне проверить практику, тем озлобленнее прерывали его речь.

— Съезд — не место для философии!

— Не учите нас, мы — не гимназисты!

Особенно старался кто-то рослый, бородатый, с лицом лавочника; он вскакивал со скамьи и, заикаясь, кричал:

— З-загово-орчки... в з-заговорчки играете! Б-бланкисты!

Одобрительно кивала головой Роза Люксембург; она очень хорошо сказала меньшевикам на одном из следующих заседаний:

— Вы не стоите на марксизме, а сидите, даже — лежите на нём.

Злой, горячий ветерок раздражения, иронии, ненависти гулял по залу, сотни глаз разнообразно освещали фигуру Владимира Ильича. Незаметно было, что враждебные выпады волнуют его, говорил он горячо, но веско, спокойно; через несколько дней я узнал, чего стоило ему это внешнее спокойствие. Было очень странно и обидно видеть, что вражду к нему возбуждает такая естественная мысль; только с высоты теории партия может ясно увидеть причины разногласия среди её. У меня образовалось такое впечатление: каждый день съезда придаёт Владимиру Ильичу всё новые и новые силы, делает его бодрее, уверенней, с каждым днём речи его звучат всё более твёрдо, и вся большевистская часть членов съезда настраивается решительнее, строже.

В Гайд-парке несколько человек рабочих, впервые видевших Ленина, заговорили о его поведении на съезде. Кто-то из них характерно сказал:

— Не знаю, может быть, здесь, в Европе, у рабочих есть и другой, такой же умный человек. — Бибель, или ещё кто. А вот, чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого, — не верится!

Другой рабочий добавил улыбаясь:

— Этот — наш!

Ему возразили:

— И Плеханов — наш.

Я услышал меткий ответ:

— Плеханов — наш учитель, наш барин, а Ленин — вождь и товарищ наш.

Какой-то молодой парень юмористически заметил: — Сюртучок Плеханова-то стесняет.

Был такой случай: по дороге в ресторан Владимира Ильича остановил меньшевик-рабочий, спрашивая о чём-то. Ильич замедлил шаг, а его компания пошла дальше. Придя в ресторан минут через пять, он, хмурясь, рассказал:

— Странно, что такой наивный парень попал на партийный съезд! Спрашивает меня: в чём же всё-таки истинная причина разногласий? Да вот, говорю, ваши товарищи желают заседать в парламенте, а мы убеждены, что рабочий класс должен готовиться к бою. Кажется, понял...

Обедали небольшой компанией, всегда в одном и том же маленьком, дешёвом ресторане. Я заметил, что Владимир Ильич ест очень мало: яичницу из двух-трёх яиц, небольшой кусок ветчины, выпивает кружку густого тёмного пива. По всему видно было, что к себе он относится небрежно, и поражала меня его удивительная заботливость о рабочих. Питанием их заведывала М. Ф. Андреева, он спрашивал её:

— Как вы думаете: не голодают товарищи? Нет? Гм, гм... А может, увеличить бутерброды?

Пришёл в гостиницу, где я остановился, и вижу: озабоченно щупает постель.

— Что это вы делаете?

— Смотрю, не сырые ли простыни.

Я не сразу понял: зачем ему нужно знать, какие в Лондоне простыни? Тогда он, заметив моё недоумение, объяснил:

— Вы должны следить за своим здоровьем.

Осенью 18-го года я спросил сормовского рабочего Дмитрия Павлова, какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина?

— Простота. Прост, как правда.

Сказал он это, как хорошо продуманное, давно решённое.

Известно, что строже всех судят человека его служащие. Но шофёр Ленина, Гиль, много испытавший человек, говорил:

— Ленин — особенный. Таких — нет. Я везу его по Мясницкой; большое движение, едва — еду, боюсь —

изломают машину, даю гудки, очень волнуясь. Он открыл дверь, добрался ко мне по подножке, рискуя, что его сшибут, уговаривает:

«Пожалуйста, не волнуйтесь, Гиль, поезжайте, как все». Я — старый шофёр, я знаю — так никто не делает.

Трудно передать, изобразить ту естественность и гибкость, с которыми все его впечатления вливались в одно русло.

Его мысль, точно стрелка компаса, всегда обращалась остриём в сторону классовых интересов трудового народа. В Лондоне выдался свободный вечер, пошли небольшой компанией в «мюзик-холл» — демократический театрик. Владимир Ильич охотно и заразительно смеялся, глядя на клоунов, эксцентриков, равнодушно смотрел на всё остальное, и особенно внимательно на рубку леса рабочими Британской Колумбии. Маленькая сцена изображала лесной лагерь; перед нею, на земле, двое здоровых молодцов перерубали в течение минуты ствол дерева, объёмом около метра.

— Ну, это, конечно, для публики, на самом деле они не могут работать с такой быстротой, — сказал Ильич. — Но ясно, что они и там работают топорами, превращая массу дерева в негодные щепки. Вот вам и культурные англичане!

Он заговорил об анархии производства при капиталистическом строе, о громадном проценте сырья, которое расходуется бесплодно, и кончил сожалением, что до сей поры никто не догадался написать книгу на эту тему. Для меня было что-то неясное в этой мысли, но спросить Владимира Ильича я не успел, он уже интересно говорил об «эксцентризме», как особой форме театрального искусства.

— Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение, к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а интересно!

Года через два, на Капри, беседа с А. А. Богдановым-Малиновским об утопическом романе, он сказал ему:

— Вот вы бы написали для рабочих роман на тему о том, как хищники капитализма ограбили землю, растрачив всю нефть, всё железо, дерево, весь уголь. Это была бы очень полезная книга, синьор махист!

Прощаясь в Лондоне, он сказал мне, что обязательно приедет на Капри отдыхать.

Но раньше, чем он собрался приехать, я увидел его в Париже, в студенческой квартирке из двух комнат, — студенческой она была только по размерам, но не по чистоте и строгому порядку в ней. Надежда Константиновна, сделав нам чай, куда-то ушла, мы остались вдвоём. Тогда разваливалось «Знание», и я приехал поговорить с Владимиром Ильичём об организации нового издательства, которое объединяло бы, по возможности, всех наших литераторов. Редактуру издательства за границей я предлагал Владимиру Ильичу, В. В. Воровскому и ещё кому-то, а в России представлял бы их В. А. Десницкий-Строев.

Мне казалось, что нужно написать ряд книг по истории западных литератур и по русской литературе, книги по истории культуры, которые дали бы богатый фактический материал рабочим для самообразования и пропаганды.

Но Владимир Ильич разрушил этот план, указав на цензуру, на трудность организовать своих людей: большинство товарищей занято практической партийной работой, писать им — некогда. Но главный и наиболее убедительный для меня довод был приблизительно таков: — Для толстой книги — не время, толстой книгой питается интеллигенция, а она, как видите, отступает от социализма к либерализму и нам её не столкнуть с пути, ею избранного. Нам нужна газета, брошюра, хорошо бы восстановить библиотечку «Знания», но в России это невозможно по условиям цензуры, а здесь — по условиям транспорта; нам нужно бросить в массы десятки, сотни тысяч листовок, такую кучу нелегально не перевезёшь. Подождём с издательством до лучших времён.

С поразительной, всегда присущей ему живостью и ясностью он заговорил о Думе, о кадетях, которые «стыдятся быть октябристами», о том, что «пред ними один путь направо», а затем привёл ряд доказательств в пользу близости войны, и «вероятно, не одной, но целого ряда войн», — это его предвидение вскоре оправдалось на Балканах.

Встал, характерным жестом сунул пальцы рук за жилет подмышками и медленно шагал по тесной комнате, прищуриваясь, поблёскивая глазами.

— Война будет. Неизбежно. Капиталистический мир достиг состояния гнилостного брожения, уже и сейчас люди начинают отравляться ядами шовинизма, национализма. Я думаю, что мы ещё увидим общеевропейскую войну. Пролетариат? Едва ли пролетариат найдёт в себе силу предотвратить кровавую склоку. Как это можно сделать? Общеевропейской забастовкой рабочих? Для этого они недостаточно организованы, сознательны. Такая забастовка была бы началом гражданской войны; мы, реальные политики, не можем рассчитывать на это.

Остановясь, шаркая подошвой по полу, угрюмо сказал:

— Пролетариат, конечно, пострадает ужасно, такова пока его судьба. Но враги его — обессилят друг друга. Это — тоже неизбежно.

И, подойдя ко мне, он сказал, как бы с изумлением, с большой силой, но негромко:

— Нет, вы подумайте, чего ради сытые гонят голодных на бойню друг против друга? Можете вы назвать преступление более идиотическое и отвратительное? Страшно дорого заплатят за это рабочие, но в конце концов выиграют они. Это — воля истории.

Он часто говорил об истории, но никогда в его речах я не чувствовал фетишистического преклонения пред её волей и силой.

Речь взволновала его; присев к столу, он вытер вспотевший лоб, хлебнул чаю и неожиданно спросил:

— Что это за скандал был у вас в Америке? По газетам я знаю, в чём дело, но как это вышло?

Я кратко рассказал ему мои приключения.

Никогда я не встречал человека, который умел бы так заразительно смеяться, как смеялся Владимир Ильич. Было даже странно, что такой суровый реалист, человек, который так хорошо видит, глубоко чувствует неизбежность великих социальных трагедий, непримиримый, непоколебимый в своей ненависти к миру капитализма, может смеяться по-детски, до слёз, захлёбываясь смехом. Большое, крепкое душевное здоровье нужно было иметь, чтобы так смеяться.

— Ох, да вы — юморист! — говорил он сквозь смех. — Вот не предполагал. Чорт знает, как смешно...

И, стирая слёзы смеха, он уже серьёзно, с хорошей, мягкой улыбкой сказал:

— Это — хорошо, что вы можете относиться к неудачам юмористически. — Юмор — прекрасное, здоровое качество. Я очень понимаю юмор, но не владею им. А смешного в жизни, пожалуй, не меньше, чем печального, право, не меньше.

Условились, что я зайду к нему через день, но погода была плохая, вечером у меня началось обильное кровохарканье, и на другой день я уехал.

После Парижа мы встретились на Капри. Тут у меня осталось очень странное впечатление: как будто Владимир Ильич был на Капри два раза и в двух, резко различных настроениях.

Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тотчас же решительно заявил мне:

— Я знаю, вы, Алексей Максимович, всё-таки надеетесь на возможность моего примирения с махистами, хотя я вас предупредил в письме: это — невозможно. Так уж вы не делайте никаких попыток.

По дороге на квартиру ко мне и там я пробовал объяснить ему, что он не совсем прав: у меня не было и нет намерения примирять философские распри, кстати — не очень понятные мне. К тому же я, от юности, заражён недоверием ко всякой философии, а причиной этого недоверия служило и служит различие философии с моим личным «субъективным» опытом: для меня мир только что начинался, «становился», а философия шлёпала его по голове и совершенно неуместно, несвоевременно спрашивала:

«Куда идёшь? Зачем идёшь? Почему думаешь?»

Некоторые же философы просто и строго командовали:

«Стой!»

Кроме того, я уже знал, что философия, как женщина, может быть очень некрасивой, даже уродливой, но одета настолько ловко и убедительно, что её можно принять за красавицу. Это рассмешило Владимира Ильича.

— Ну, это — юмористика, — сказал он. — А что мир только начинается, становится, — хорошо! Над этим вы подумайте серьёзно, отсюда вы придёте, куда вам давно следует притти.

Затем я сказал ему, что А. А. Богданов, А. В. Лу-

начарский, В. А. Базаров — в моих глазах крупные люди, отлично, всесторонне образованные, в партии я не встречал равных им.

— Допустим. Ну, и что же отсюда следует?

— В конце концов я считаю их людьми одной цели, а единство цели, понятное и осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философические противоречия...

— Значит, всё-таки надежда на примирение жива? Это — зря, — сказал он. — Гоните её прочь и как можно дальше, дружески советую вам! Плеханов тоже, по-вашему, человек одной цели, а вот я — между нами — думаю, что он — совсем другой цели, хотя и материалист, а не метафизик.

На этом беседа наша и кончилась. Я думаю, что нет надобности напоминать, что я воспроизвёл её не в точных словах, не буквально. В точности смысла — не сомневаюсь.

И вот я увидел пред собой Владимира Ильича Ленина ещё более твёрдым, непреклонным, чем он был на Лондонском съезде. Но там он волновался, и были моменты, когда ясно чувствовалось, что раскол в партии заставляет переживать его очень тяжёлые минуты.

Здесь он был настроен спокойно, холодновато и насмешливо, сурово отталкивался от бесед на философские темы и, вообще, вёл себя насторожённо. А. А. Богданов, человек удивительно симпатичный, мягкий и влюблённый в Ленина, но немножко самлюбивый, принуждён был выслушивать весьма острые и тяжёлые слова:

— Шопенгауэр говорит: «Кто ясно мыслит, — ясно излагает»; я думаю, что лучше этого он ничего не сказал. Вы, товарищ Богданов, излагаете неясно. Вы мне объясните в двух-трёх фразах, что даёт рабочему классу ваша «подстановка» и почему махизм — революционнее марксизма?

Богданов пробовал объяснить, но он говорил, действительно, неясно и многословно.

— Бросьте, — советовал Владимир Ильич. — Кто-то, — кажется, Жорес, — сказал: «Лучше говорить правду, чем быть министром», я бы прибавил: и махизмом.

Затем он азартно играл с Богдановым в шахматы и, проигрывая, сердился, даже унывал как-то по-детски.

Замечательно: даже и это детское уныние, так же как его удивительный смех, не нарушали целостной слитности его характера.

Был на Капри другой Ленин — прекрасный товарищ, весёлый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в мире, с поразительно мягким отношением к людям.

Как-то поздним вечером, когда все ушли гулять, он говорил мне и М. Ф. Андреевой, — не весело говорил, с глубоким сожалением:

— Умные, талантливые люди не мало сделали для партии, могли бы сделать в десять раз больше, а не пойдут они с нами! Не могут. И десятки, сотни таких людей ломает, уродует этот преступный строй.

В другой раз он сказал:

— Луначарский вернётся в партию, он — менее индивидуалист, чем те двое. На редкость богато одарённая натура. Я к нему «питаю слабость» — чорт возьми, какие глупые слова: питать слабость! Я его, знаете, люблю, отличный товарищ! Есть в нём какой-то французский блеск. Легкомыслие у него тоже французское, легкомыслие — от эстетизма у него.

Он подробно расспрашивал о жизни каприйских рыбаков, об их заработке, о влиянии попов, о школе — широта его интересов не могла не изумлять меня. Когда ему указали, что вот этот попик — сын бедного крестьянина, он сейчас же потребовал, чтоб ему собрали справки: насколько часто крестьяне отдают своих детей в семинариумы и возвращаются ли дети крестьян служить попами в свои деревни?

— Вы — понимаете? Если это не случайное явление, — значит, это политика Ватикана. Хитрая политика!

Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым людям».

Был в нём некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шалапина и не мало других крупных русских людей, каким-то чутьём сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех — «задушевный» смех человека, который прекрасно умел видеть неуклюжесть люд-

ской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться детской наивностью «простых сердцем».

Старый рыбак Джиованни Спадаро сказал о нём:

— Так смеяться может только честный человек.

Качаясь в лодке на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца» — лесой без удилица. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь леси:

— Кози: дринь-дринь. Капиш?

Он тотчас подсёк рыбу, повёл её и закричал с восторгом ребёнка, с азартом охотника:

— Ага! Дринь-дринь!

Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохотали и прозвали рыбака: «Синьор Дринь-дринь».

Он уехал, а они всё спрашивали:

— Как живёт Дринь-дринь? Царь не схватил его, нет?

Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно любить. Уже только эта одна, в корне искажающая человека необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает современные условия жизни на разрушение.

В России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство «спасения души», я не встречал, не знаю человека, который с такой глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастьям, горю, страданию людей.

В моих глазах эти чувства, эта ненависть к драмам и трагедиям жизни особенно высоко поднимают Владимира Ленина, человека страны, где во славу и освящение страдания написаны самые талантливые евангелия и где юношество начинает жить по книгам, набитым однообразными, в сущности, описаниями мелких, будничных драм. Русская литература — самая пессимистическая литература Европы; у нас все книги пишутся на одну и ту же тему о том, как мы страдаем, — в юности и зрелом возрасте: от недостатка разума, от гнёта самодержавия, от женщин, от любви к ближнему, от неудачного устройства вселенной; в старости: от сознания ошибок жизни, недостатка зубов, несварения желудка и от необходимости умереть.

Каждый русский, посидев «за политику» месяц в тюрьме или прожив год в ссылке, считает священной обязанностью своей подарить России книгу воспоминаний о том, как он страдал. И никто до сего дня не догадался выдумать книгу о том, как он всю жизнь радовался. А так как русский человек привык выдумывать жизнь для себя, делать же её плохо умеет, то весьма вероятно, что книга о счастливой жизни научила бы его, как нужно выдумывать такую жизнь.

Для меня исключительно велико в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастьям людей, его яркая вера в то, что несчастье не есть неустранимая основа бытия, а мерзость, которую люди должны и могут отместить прочь от себя.

Владимир Ленин был человеком, который так помещал людям жить привычной для них жизнью, как никто до него не умел сделать это.

Ненависть мировой буржуазии к нему обнажённо и отвратительно ясна, её синие, чумные пятна всюду блещут ярко. Отвратительная сама по себе, эта ненависть говорит нам о том, как велик и страшен в глазах мировой буржуазии Владимир Ленин — вдохновитель и вождь пролетариев всех стран. Вот он не существует физически, а голос его всё громче, победоноснее звучит для трудящихся земли, и уже нет такого угла на ней, где бы этот голос не возбуждал волю рабочего народа к революции, к новой жизни, к строительству мира людей равных. Всё более уверенно, крепче, успешней делают великое дело ученики Ленина, наследники его силы.

Меня восхищала ярко выраженная в нём воля к жизни и активная ненависть к мерзости её; я любовался тем азартом юности, каким он насыщал всё, что делал. Меня изумляла его нечеловеческая работоспособность. Его движения были легки, ловки, и скупой, но сильный жест вполне гармонировал с его речью, тоже скупой словами, обильной мыслью. И на лице, монгольского типа, горели, играли эти острые глаза неумолимого борца против лжи и горя жизни, горели, прищуриваясь, подмигивая, иронически улыбаясь, сверкая гневом. Блеск этих глаз делал речь его ещё более жгучей и ясной.

Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе. Речь его всегда вызывала физическое ощущение неотразимой правды.

Необычно и странно было видеть Ленина гуляющим в парке Горок, — до такой степени срослось с его образом представление о человеке, который сидит в конце длинного стола и, усмехаясь, поблёскивая зоркими глазами рулевого, ловко руководит прениями товарищей или же, стоя на эстраде, закинув голову, мечет в притихшую толпу, в жадные глаза людей, изголодавшихся о правде, чёткие, ясные слова.

Они всегда напоминали мне холодный блеск железных стружек.

С удивительной простотой из-за этих слов возникала художественно-выточенная фигура правды.

Азарт был свойством его природы, но он не являлся корыстным азартом игрока, он обличал в Ленине ту исключительную бодрость духа, которая свойственна только человеку, непоколебимо верующему в своё призвание, человеку, который всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром и до конца понял свою роль в хаосе мира; — роль врага хаоса. Он умел с одинаковым увлечением играть в шахматы, рассматривать «Историю костюма», часами вести спор с товарищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам Капри, раскалённым солнцем юга, любоваться золотыми цветами дрока и чумазыми ребятами рыбаков. А вечером, слушая рассказы о России, о деревне, завистливо вздыхал:

— А мало я знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка — и почти всё!

Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно «заливался» смехом, иногда до слёз. Краткому, характерному восклицанию «гм-гм» он умел придавать бесконечную гамму оттенков, от язвительной иронии до осторожного сомнения, и часто в этом «гм-гм» звучал острый юмор, доступный человеку очень зоркому, хорошо знающему дьявольские нелепости жизни.

Коренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими глазами, он нередко принимал странную и немножко комическую позу — закинет голову назад и, наклонив её к плечу, сунет пальцы рук куда-то под-

мышки, за жилет. В этой позе было что-то удивительно милое и смешное, что-то победоносно-петушиное, и весь он в такую минуту светился радостью, великое дитя окаянного мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражды и ненависти, ради осуществления дела любви.

До 18-го года, до пошлейшей и гнусной попытки убить Ленина, я не встречался с ним в России и даже издали не видал его. Я пришёл к нему, когда он ещё плохо владел рукой и едва двигал простреленной шеей. В ответ на моё возмущение он сказал неохотно, как говорят о том, что надоело:

— Драка. Что делать? Каждый действует, как умеет.

Мы встретились очень дружески, но, разумеется, пронзительные, всевидящие глазки милого Ильича смотрели на меня, «заблудившегося», с явным сожалением.

Через несколько минут Ленин азартно говорил:

— Кто не с нами, тот против нас. Люди, независимые от истории, — фантазия. Если допустить, что когда-то такие люди были, то сейчас их нет, не может быть. Они никому не нужны. Все, до последнего человека, втянуты в круговорот действительности; запутанной, как она ещё никогда не запутывалась. Вы говорите, что я слишком упрощаю жизнь? Что это упрощение грозит гибелью культуре, а?

Ироническое, характерное:

— Гм-гм...

Острый взгляд становится ещё острее, и пониженным голосом Ленин продолжает:

— Ну, а по-вашему, миллионы мужиков с винтовками в руках — не угроза культуре, нет? Вы думаете, учредилка справилась бы с их анархизмом? Вы, который так много шумите об анархизме деревни, должны бы лучше других понять нашу работу. Русской массе надо показать нечто очень простое, очень доступное её разуму. Советы и коммунизм — просто.

— Союз рабочих с интеллигенцией, да? Это — не плохо, нет. Скажите интеллигенции, пусть она идёт к нам. Ведь, по-вашему, она искренно служит интересам справедливости? В чём же дело? Пожалуйте

к нам: это именно мы взяли на себя колоссальный труд поднять народ на ноги, сказать миру всю правду о жизни, мы указываем народу прямой путь к человеческой жизни, путь из рабства, нищеты, унижения.

Он засмеялся и беззлобно сказал:

— За это мне от интеллигенции и попала пуля.

А когда температура беседы приблизилась к нормальной, он проговорил с досадой и печалью:

— Разве я спорю против того, что интеллигенция необходима нам? Но вы же видите, как враждебно она настроена, как плохо понимает требования момента? И не видит, что без нас она бессильна, не дойдёт к массам. Это — её вина будет, если мы разобьём слишком много горшков.

Беседы с ним на эту тему возникали почти при каждой встрече. И хотя на словах его отношение к интеллигенции оставалось недоверчивым, враждебным, — на деле он всегда правильно оценивал значение интеллектуальной энергии в процессе революции и как будто соглашался с тем, что, в сущности, революция является взрывом именно этой энергии, не нашедшей для себя в изжитых и тесных условиях возможности закономерного развития.

Помню, я был у него с тремя членами Академии наук. Шёл разговор о необходимости реорганизации одного из высших научных учреждений Петербурга. Проводив учёных, Ленин удовлетворённо сказал:

— Это я понимаю. Это — умники. Всё у них просто, всё сформулировано строго, сразу видишь, что люди хорошо знают, чего хотят. С такими работать — одно удовольствие. Особенно понравился мне этот.

Он назвал одно из крупных имён русской науки, а через день уже говорил мне по телефону:

— Спросите С., пойдёт он работать с нами?

И когда С. принял предложение, это искренно обрадовало Ленина; потирая руки, он шутил:

— Вот так, одного за другим, мы перетянем всех русских и европейских Архимедов, тогда мир, хочет не хочет, а перевернётся!

Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта.

— Чего вы хотите? — удивлённо и гневно спраши-

вал он. — Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушью? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского пролетариата, на нас, со всех сторон, медведем лезет контрреволюция, а мы — что же? Не должны, не в праве бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки. Мы знаем: то, чего мы хотим, никто не может сделать кроме нас. Неужели вы допускаете, что если б я был убеждён в противном, я сидел бы здесь?

— Какою мерой измеряете вы количество необходимых и лишних ударов в драке? — спросил он меня однажды, после горячей беседы. На этот простой вопрос я мог ответить только лирически. Думаю, что иного ответа — нет.

Я очень часто одолевал его просьбами различного рода и порою чувствовал, что мои ходатайства о людях вызывают у Ленина жалость ко мне. Он спрашивал:

— Вам не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяками?

Но я делал то, что считал необходимым, и косые, сердитые взгляды человека, который знал счёт врагов пролетариата, не отталкивали меня. Он сокрушённо качал головою и говорил:

— Компрометируете вы себя в глазах товарищей, рабочих.

А я указывал, что товарищи, рабочие, находясь «в состоянии запальчивости и раздражения», нередко слишком легко и «просто» относятся к свободе, к жизни ценных людей и что, на мой взгляд, это не только компрометирует честное, трудное дело революции излишней, порою и бессмысленной жестокостью, но объективно вредно для этого дела, ибо отталкивает от участия в нём немалое количество крупных сил.

— Гм-гм, — скептически ворчал Ленин и указывал мне на многочисленные факты измены интеллигенции рабочему делу.

— Между нами, — говорил он, — ведь многие изменяют, предательствуют не только из трусости, но из самолюбия, из боязни сконфузиться, из страха, как бы не пострадала возлюбленная теория в ее столкновении с практикой. Мы этого не боимся. Теория, гипотеза для нас не есть нечто «священное», для нас это — рабочий инструмент.

И всё-таки я не помню случая, когда бы Ильич отказал в моей просьбе. Если же случалось, что они не исполнялись, это было не по его вине, а вероятно, по силе тех «недостатков механизма», которыми всегда изобиловала неуклюжая машина русской государственности. Допустимо и чьё-то злое нежелание облегчить судьбу ценных людей, спасти их жизнь. Возможно и здесь «вредительство», враг циничен так же, как хитёр. Месть и злоба часто действуют по инерции. И, конечно, есть маленькие, психически нездоровые люди с болезненной жадностью наслаждаться страданиями ближних.

Нередко меня удивляла готовность Ленина помочь людям, которых он считал своими врагами, и не только готовность, а и забота о будущем их. Так, например, одному генералу, учёному, химику, угрожала смерть.

— Гм-гм, — сказал Ленин, внимательно выслушав мой рассказ. — Так, по-вашему, он не знал, что сыновья спрятали оружие в его лаборатории? Тут есть какая-то романтика. Но надо, чтоб это разобрал Дзержинский, у него тонкое чутьё на правду.

Через несколько дней он говорил мне по телефону в Петроград:

— А генерала вашего — выпустим, кажется, уже и выпустили. Он что хочет делать?

— Гомозмульсию...

— Да, да, карболку какую-то. Ну вот, пусть варит карболку. Вы скажите мне, чего ему надо...

И для того, чтобы скрыть стыдливую радость спасения человека, Ленин прикрывал радость иронией.

Через несколько дней он снова спрашивал:

— А как генерал? Устроился?

В тяжёлом, голодном, 19-ом году Ленин стыдился есть продукты, которые присылали ему товарищи, солдаты и крестьяне из провинции. Когда в его неуютную квартиру приносили посылки, он морщился, конфузился и спешил раздать муку, сахар, масло больным или ослабевшим от недоедания товарищам. Приглашая меня обедать к себе, он сказал:

— Копчёной рыбой угощу, — прислали из Астрахани.

И, нахмутив сократовский лоб, скосив в сторону всевидящие глаза, добавил:

— Присылают, точно барину! Как от этого отва-

дишь? Отказаться, не принять — обидишь. А кругом все голодают.

Неприхотливый, чуждый привычки к вину, табаку, занятый с утра до вечера сложной, тяжёлой работой, он совершенно не умел заботиться о себе, но зорко следил за жизнью товарищей. Сидит за столом у себя в кабинете, быстро пишет и говорит, не отрывая пера от бумаги:

— Здравствуйте, как здоровье? Я сейчас кончу. Тут один товарищ, в провинции, скучает, видимо — устал. Надо поддержать. Настроение — не малая вещь!

Как-то в Москве прихожу к нему, спрашивает:

— Обедали?

— Да.

— Не сочиняете?

— Свидетель есть — обедал в кремлёвской столовой.

— Я слышал — скверно готовят там.

— Не скверно, а могли бы лучше.

Он тотчас же подробно допросил: почему плохо, как может быть лучше?

И начал сердито ворчать:

— Что же они, там, умелого повара не смогут найти? Люди работают буквально до обморока, их нужно кормить вкусно, чтобы они ели больше. Я знаю, что продуктов мало и плохи они, — тут нужен искусный повар. — И процитировал рассуждение какого-то гигиениста о роли вкусовых приправ в процессе питания и пищеварения. Я спросил:

— Как это вы успеваете думать о таких вещах?

Он тоже спросил:

— О рациональном питании?

И тоном своих слов дал мне понять, что мой вопрос неуместен.

Старый знакомый мой, П. С. Скороходов, тоже сормович, человек мягкой души, жаловался на тяжесть работы в Чека. Я сказал ему:

— И мне кажется, что это не ваше дело, не по характеру вам.

Он грустно согласился:

— Совсем не по характеру.

Но, подумав, сказал:

— Однако вспомнишь, что ведь Ильичу тоже, наверное, частенько приходится держать душу за крылья — и стыдно мне слабости своей.

Я знал и знаю немало рабочих, которым приходилось и

приходится, крепко сжав зубы, «держать душу за крылья» — насиловать органический «социальный идеализм» свой ради торжества дела, которому они служат.

Приходилось ли самому Ленину «держать душу за крылья»?

Он слишком мало обращал внимания на себя для того, чтобы говорить о себе с другими, он, как никто, умел молчать о тайных бурях в своей душе. Но однажды, в Горках, лаская чьих-то детей, он сказал:

— Вот эти будут жить уже лучше нас; многое из того, чем жили мы, они не испытают. Их жизнь будет менее жестокой.

И, глядя вдаль, на холмы, где крепко осела деревня, он добавил раздумчиво:

— А всё-таки я не завидую им. Нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической значительности. Вынужденная условиями жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Всё будет понята, всё!

Детей он ласкал осторожно, какими-то особенно лёгкими и бережными прикосновениями.

Как-то пришёл к нему и вижу: на столе лежит том «Войны и мира».

— Да, Толстой! Захотелось прочесть сцену охоты, да вот вспомнил, что надо написать товарищу. А читать — совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

— Какая глыба, а? Какой матёрый человечище? Вот это, батенька, художник... И, знаете, что ещё изумительно! До этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним? Сам себе ответил:

— Некого.

И потирая руки, засмеялся, довольный.

Я нередко подмечал в нём черту гордости русским искусством. Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился

слышать в ней отзвук глубоко скрытой, радостной любви к рабочему народу.

На Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают сети, изорванные и спутанные акулой, заметил: — Наши работают бойчее.

А когда я выразил сомнение по этому поводу, он, не без досады, сказал:

— Гм-гм, а не забываете вы России, живя на этой шишке?

В. А. Десницкий-Строев сообщил мне, что однажды он ехал с Лениным по Швеции, в вагоне, и рассматривал немецкую монографию о Дюрере.

Немцы, соседи по купе, его спросили, что это за книга. В дальнейшем оказалось, что они ничего не слышали о своём великом художнике. Это вызвало почти восторг у Ленина, и дважды, с гордостью, он сказал Десницкому:

— Они своих не знают, а мы знаем.

Как-то вечером в Москве, на квартире Е. П. Пешковой, Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исая Добровейн, сказал:

— Ничего не знаю лучше «Аpassionata», готов слушать её каждый день. Изумительная нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело:

— Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм, — должность адски трудная!

Он больше года с поразительным упрямством настаивал, чтоб я уехал из России, и меня удивляло: как он, всецело поглощённый работой, помнит о том, что кто-то где-то болен, нуждается в отдыхе?

Я уже говорил о его совершенно исключительном отношении к товарищам, о внимании к ним, которое пронизательно догадывалось даже о неприятных мелочах их жизни. Но в этом его чувстве я никогда не могу

уловить своекорыстной заботливости, которая иногда свойственна умному хозяину в его отношении к честным и умелым работникам.

Нет, это было именно сердечное внимание истинного товарища, чувство любви равного к равным. Я знаю, что между Владимиром Лениным и даже крупнейшими людьми его партии невозможно поставить знака равенства, но он этого как бы не знал, а вернее, не хотел знать. Он был резок с людьми, споря с ними, безжалостно высмеивал, даже порою ядовито издевался — всё это так.

Но сколько раз в его суждениях о людях, которых он вчера распинаял и «разносил», я совершенно ясно слышал ноты искреннего удивления пред талантами и моральной стойкостью этих людей, пред их упорной и тяжёлой работой адских условий 1918 до 1921 годов, работой в окружении шпионов всех стран и партий, среди заговоров, которые гнилыми нарывами вздувались на истощённом войною теле страны. Работали — без отдыха, ели мало и плохо, жили в непрерывной тревоге.

Но сам Ленин как будто не испытывал тяжести этих условий и тревог жизни, потрясённой до самых глубочайших основ своих кровавой бурей гражданской распри. И только один раз, в беседе с М. Ф. Андреевой, у него, по её словам, вырвалось что-то подобное жалобе:

— Что же делать, милая М. Ф.? Надо бороться. Необходимо! Нам тяжело? Конечно! Вы думаете: мне тоже не бывает трудно? Бывает — и ещё как! Но посмотрите на Дзержинского, — на что стал похож он! Ничего не поделаешь! Пусть лучше нам будет тяжело, только бы одолеть!

Лично я слышал от него лишь одну жалобу:

— Жаль — Мартова нет с нами, очень жаль! Какой это удивительный товарищ, какой чистый человек!

Помню, как весело и долго хохотал он, прочитав где-то слова Мартова:

«В России только два коммуниста: Ленин и Коллонтай».

А посмеявшись, сказал со вздохом:

— Какая умница! Эх...

Именно с уважением и удивлением он сказал, проводив из кабинета одного товарища «хозяйственника»:

— Вы давно знаете его? Он был бы во главе кабинета министров любой европейской страны.

И, потирая руки, посмеиваясь, добавил:

— Европа беднее нас талантливыми людьми.

Я предложил ему съездить в Главное артиллерийское управление посмотреть изобретённый одним большевиком, бывшим артиллеристом, аппарат, корректирующий стрельбу по аэропланам.

— А что я в этом понимаю? — спросил он, но поехал. В сумрачной комнате, вокруг стола, на котором стоял аппарат, собралось человек семь хмурых генералов, все седые, усатые старики, учёные люди. Среди них скромная штатская фигура Ленина как-то потерялась, стала незаметной. Изобретатель начал объяснять конструкцию аппарата. Ленин послушал его минуты две, три, одобрительно сказал:

«Гм-гм!» — и начал спрашивать изобретателя так же свободно, как будто экзаменовал его по вопросам политики:

— А как достигнута вами одновременно двойная работа механизма, устанавливающая точку прицела? И нельзя ли связать установку хоботов орудий автоматически с показаниями механизма?

Спрашивал про объём поля поражения и ещё о чём-то, — изобретатель и генералы оживлённо объясняли ему, а на другой день изобретатель рассказывал мне:

— Я сообщил моим генералам, что придёте вы с товарищем, но умолчал, кто товарищ. Они не узнали Ильича, да, вероятно, и не могли себе представить, что он явится без шума, без помпы, охраны. Спрашивают: это техник, профессор? Ленин? Страшно удивились — как? Не похоже! И — позвольте! — откуда он знает наши премудрости? Он ставил вопросы как человек технически сведущий! Мистификация! Кажется, так и не поверили, что у них был именно Ленин...

А Ленин, по дороге из ГАУ, возбуждённо похохатывал и говорил об изобретателе:

— Ведь вот как можно ошибиться в оценке человека! Я знал, что это старый честный товарищ, но из тех, что звёзд с неба не хватают. А он как раз именно на это и оказался годен. Молодчина! Нет, генералы-то как окрысились на меня, когда я выразил сомнение в практической ценности аппарата! А я нарочно сделал это, — хотелось знать, как именно они оценивают эту остроумную штуку.

Залился смехом, потом спросил:

— Говорите, у И. есть ещё изобретение? В чём дело? Нужно чтоб он ничем иным не занимался. Эх, если б у нас была возможность поставить всех этих техников в условия идеальные для их работы! Через двадцать пять лет Россия была бы передовой страной мира!

Его отношение ко мне было отношением строгого учителя и доброго «заботливого друга».

— Загадочный вы человек, — сказал он мне шутливо, — в литературе как будто хороший реалист, а в отношении к людям — романтик. У вас все — жертвы истории? Мы знаем историю, и мы говорим жертвам: опрокидывайте жертвенники, ломайте храмы, долой богов! А вам хочется убедить меня, что боевая партия рабочего класса обязана прежде всего удобно устроить интеллигентов.

Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что беседовать со мною Владимиру Ильичу было приятно. Он почти всегда предлагал:

— Приедете — позвоните, повидаемся.

А однажды сказал:

— Потолковать с вами всегда любопытно, у вас разнообразнее и шире круг впечатлений.

Расспрашивал о настроении интеллигенции, особенно внимательно об учёных, — я в то время работал в «Комиссии по улучшению быта учёных». Интересовался пролетарской литературой.

— Чего вы ждёте от неё?

Я говорил, что жду много, но считаю совершенно необходимым организацию Литвуза с кафедрами по языкознанию, иностранным языкам — Запада и Востока, — по фольклору, по истории всемирной литературы, отдельно — русской.

— Гм-гм, — говорил он, прищуриваясь и похохатывая. — Широко и ослепительно! Что широко — я не против, а вот — ослепительно будет, а? Своих-то профессоров у нас нет по этой части, а буржуазные такую историю покажут... Нет, сейчас этого не поднять. Годика три, пяток подождать надо.

И жаловался:

— Читать совершенно нет времени!

Усиленно и неоднократно подчёркивал агитационное значение работы Демьяна Бедного, но говорил:

— Грубоват. Идёт за читателем, а надо быть немножко впереди.

К Маяковскому относился недоверчиво и даже раздражённо:

— Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и всё у него не то, по-моему, — не то и мало понятно. Рассыпано всё, трудно читать. Талантлив? Даже очень? Гм-гм, посмотрим! А вы не находите, что стихов пишут очень много? И в журналах целые страницы стихов, и сборники выходят почти каждый день.

Я сказал, что тяготение молодёжи к песне — естественно в такие дни и что — на мой взгляд — посредственные стихи легче писать, чем хорошую прозу, и времени требуют стихи — меньше; к тому же у нас очень много хороших учителей по технике стихосложения.

— Ну, что стихи легче прозы, — я не верю! Не могу представить. С меня хоть кожу сдерите — двух строчек не напишу, — сказал он и нахмурился. — В массу надобно двинуть всю старую революционную литературу, сколько её есть у нас и в Европе.

Он был русский человек, который долго жил вне России, внимательно разглядывал свою страну, — издали она кажется красочнее и ярче. Он правильно оценил потенциальную силу её — исключительную талантливость народа, ещё слабо выраженную, не возбуждённую историей, тяжёлой и нудной, но талантливость всюду, на тёмном фоне фантастической русской жизни, блестящую золотыми звёздами.

Владимир Ленин, большой, настоящий человек мира сего — умер. Эта смерть очень больно ударила по сердцам тех людей, кто знал его, очень больно!

Но чёрная черта смерти только ещё резче подчеркнёт в глазах всего мира его значение — значение вождя всемирного трудового народа.

И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была ещё более густа — всё равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира.

И не было человека, который так, как этот, действительно заслужил в мире вечную память.

Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его — живы. Живы и работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал.

СТЕПАН ЩИПАЧЁВ  
ДОМИК В ШУШЕНСКОМ

1

Опять погода завернула круто.  
Над Шушенским ни месяца, ни звёзд.  
Из края в край метелями продута,  
Лежит Сибирь на много тысяч вёрст.

Ещё не в светлых комнатах Истпарта,  
Где даты в памяти перебирай,  
А только обозначенным на картах  
Найдёшь далёкий Минусинский край.

Ещё пройдут десятилетия горя  
До мокрого рассвета в октябре,  
И пушки, те, что будут на «Авроре»,  
Железною рудой ещё лежат в горе.

Горит свеча, чуть-чуть колеблет тени...  
Село до ставней вьюги замели,  
Но здесь, где трудится, где мыслит Ленин,  
Здесь, в Шушенском, проходит ось земли.

Уж за полночь, окно бело от снега,  
А он всё пишет, строчки торопя.  
Сквозь вьюги девятнадцатого века,  
Двадцатый век, он разглядел тебя.

И он уж знает, в чём России сила  
И чем грядущее озарено.  
Пускай ещё не высохли чернила —  
Словам уже бессмертие дано.

Невзрачный домик затерялся в мире,  
Но на стекло морозный лёг узор,  
И тут вся география Сибири —  
От океана до Уральских гор.

Вот серебро равнин её широких,  
Вот, в иглах весь, тайгу засыпал снег,  
И различимы горные отроги,  
И, как рога олени, русла рек,

И на столе белеют не страницы,  
А тот же русский снеговой простор,  
Где — все губернии... где он в таблицах  
Учёл и тот однолошадный двор

С косым плетнём, засыпанным метелью,  
Где позапрошлую неделю  
Осталась без отца семья,  
Где в эту ночь родился я.

Мать — хоть от боли ослабела —  
Гадает о моей судьбе.  
Промёрзла дверь, заиндевела  
И ходит ветер по избе.

В сенях, где страх теперь таятся,  
То скрипнет вдруг, то звякнет тишина.  
Где вынута пешнёю половица,  
Земля замёрзшая видна.

На эту половицу прадед  
Ступал, наряженный к венцу,  
А в чёрный день она в ограде  
Постругана на гроб отцу.

Но всё — и горе — он учёл в таблицах...  
Потрескивает на столе свеча.  
Пусть ночь темна и непогода длится,  
Он всю Россию видит в этот час.

Крутые переулочки Казани,  
Библиотеки старые Москвы  
И Петербург — перед глазами.  
В граните — серая вода Невы.

Звонки условные — и он в квартире...  
Висят часы на выцветшей стене  
И ржавой цепью тянут время гири,  
Секунды отбивая в тишине.

Глухи за Невскою заставой ночи.  
Со следу сбив назойливых шпиков,  
Он снова на кружке рабочем  
Глядит в глаза учеников.

Пойдут на смерть — не предадут такие.  
На сердце горячо от этих глаз.  
В них светится мечта твоя, Россия,  
В них молодость, твоя, рабочий класс.

2

Какое утро! Белизна какая!  
И этой белизне подстать  
Хребты Саянские сверкают.  
Сегодня их и в Шушенском видать.

Снег на катке волнистый и горбатый.  
В глазах рябит от белых снежных гряд.  
И, пронеся хоругвями лопаты,  
Ребята рядом с Лениным стоят,

Одним морозным воздухом с ним дышат,  
Свои следы в его вплетают след.  
Хоть, может, имя Ленина услышат  
Они впервые через много лет.

Кто ж из мальчишек первым быть не хочет,  
Когда, заиндевелый до бровей,  
Он — с ними, сам, как маленький, хохочет, —  
И снег с лопат летит ещё живей.

Необозримая лежит Россия.  
До края и ветра не долетят.  
Пусть это шушенские, костромские —  
Жизнь одинаковая у ребят.

И тут, и там она, ещё слепая,  
Уводит от отцовского крыльца.  
Десятилетним мальчиком Чапаев  
На побегушках в чайной у купца.

В Уржуме лёгкая летит пороша,  
Видны леса — куда ни погляди.  
Приютский мальчик Костриков Серёжа —  
Что может знать он о своём пути?

В Тбилиси, где седыми башни стали,  
Где из расщелин их трава растёт,  
Двадцатилетним юношею Сталин  
По переулкам глиняным идёт.

Он шляпу снял. Кавказ, высок и светел,  
Сегодня весь открыт его глазам.  
Там, на Казбеке, побывавший, ветер  
Бежит по юношеским волосам.

Когда от духоты на сходке свечи  
Тусклей горят и споры горячи,  
В его спокойной и негромкой речи,  
Как клятва, имя Ленина звучит.

И ни Сибирь, ни гор кавказских гряды  
Их не разделят — встретятся они,  
Чтобы стоять в тысячелетях рядом.

Но медленны самодержавья дни,  
Сибирской ссылки дни глухие.  
Будённовские конники лихие,  
Чапаевцы — ещё в пелёнках спят.  
Их, как травинок в поле, на Руси ребят.

\*

Где в чашах заячьи петляют тропы,  
Где солнце в космах снеговых встаёт,  
В избе, уткнувшейся в уральские сугробы,  
На свете мальчик первый день живёт.

Мать рядом спит.  
Ей сон тревожный снится,  
Ей не дойти до светлой правды той,  
Что и в глухую эту ночь родиться  
Не страшно даже сиротой.

Под окнами черствеет снег вчерашний,  
Святые скорбно смотрят из угла.  
За сына было б матери не страшно,  
Когда бы знать про Ленина могла.

### 3

Всё те же, в той, где он бывал, квартире,  
Висят часы на выцветшей стене  
И ржавой цепью тянут время гири,  
Секунды отбивая в тишине.

Неторопливо, в сроки поспевая,  
На циферблате, заспанном на вид,  
Идёт по кругу стрелка часовая,  
И по орбите шар земной летит.

Легли седые позади дороги,  
Ведя от детства, от плетней косых.  
Годины войн и революций сроки  
Секундами измерили часы.

И на холодном, быстром Енисее,  
В ещё не очень обжитом краю,  
Благоговейно в домике-музее  
Я у стола рабочего стою.

Тут Ленин жил,  
За этот стол садился,  
Стоял, быть может, тут, где я стою.  
Ещё я только что на свет родился,  
А он уже решал судьбу мою.

Прошло вихрастое, босое детство,  
И после, в день великий Октября,  
Не двор — страну я получил в наследство:  
Поля и реки, горы и моря.

Я честь и славу своего народа,  
Как сын, под красным знаменем принял.

...Пилотку, полинявшую в походах,  
Я с головы ещё за дверью снял.  
На половицы бережно ступая,  
По домику я тихо прохожу.  
Стоит в нём тишина святая.  
Я ею, как бессмертием, дышу.

Но эта тишина — не для молитвы,  
А для присяги. В этой тишине  
Ещё слышнее грохот битвы,  
Отсюда и сегодня видно мне:

Стена Кремля седого — рядом с нами.  
Вперёд простёрта Сталина рука:  
— Пусть осенит вас ленинское знамя... —  
И эхом вторят Сталину века.

А. КОНОНОВ

ПРАЗДНИК

В тот день Катя Трофимова вышла из дому поздно. Густой медный звон подымался над лаврой и плыл по улицам.

За заставой, у лабазов, мальчишки гоняли шестами голубей. На лабазных дверях висели пудовые замки.

Всё было, как всегда на пасху. И никогда ещё не было так скучно.

На углу торчал надоевший до тошноты жестяной щит: сытый барин в цилиндре изумлённо нюхал дым голубой папиросы, над папиросой сияли аршинные буквы — «Гильзы Катыха».

Щит заслонял от глаз проулок, из которого в будни, дыша копотью, вылетал паровик, маршрут «Невская застава — Стекланный городок».

Теперь проулок был пуст.

Даже воздух вокруг, воздух питерского пригорода, был скучным; пахло самоварным дымом, золой, талым снегом.

У самой заставы Катя встретила Наталью Егоровну, закройщицу своего цеха. Егоровна глянула на неё жарко, как будто и не узнавая даже. Потом, не здороваясь, схватила Катю за рукав:

— Бежим в комитет!

Районный комитет большевиков помещался в ту пору в двух комнатах приземистого невесёлого дома.

В первой комнате сидел за сосновым столом пожилой человек в полупальто и барашковой шапке.

Наталья Егоровна закричала на него:

— Ну, что?

Тот развёл руками:

— Оповестил кого мог. Душ сорок придут.

Закройщица рассердилась:

— Нет, товарищ дорогой! Неверно ты сосчитал. Тысячи придут. Весь наш район пойдёт встречать.

— Придумай, как это сделать.

— Надо придумать.

— Кого встречать? — спросила Катя.

Егоровна повернулась к ней удивлённо:

— Разве я тебе не сказала? Ленин к нам едет!

Человек в полупальто проговорил глуховатым голосом:

— Вот и никто не знает: пасха... — Потом вдруг оживился: — Путиловцы, те, конечно, все выйдут... как один!

— Путиловцы выйдут, — подтвердила Наталья Егоровна, — и мы выйдем.

Пасха! Пасха, — это значило: заводы и фабрики на замке, газеты не выходят, почта не работает.

Егоровна села у стола, оперлась щекой о ладонь, задумалась. Потом спросила:

— Катюша, умеешь ты красиво писать?

И, не дожидаясь ответа, встала и шагнула в другую комнату: там лежали плакаты, стопки разноцветных брошюр, прислонённые к стене, стояли знамёна.

Егоровна вернулась оттуда с полосой красного ситца.

— Вот тут пиши... — Она помолчала, вздохнула быстро и сильно: — Пиши: «К нам едет Ленин. Идём встречать!» Всё.

Краски в помятых жестянках стояли на подоконнике.

Катя отыскала кусок мела и принялась писать буквы начерно.

Егоровна разводила белую краску маслом, размачивала кисть.

Катя написала последнюю букву в слове «Ленин» и сказала тихонько:

— Тётя Наташа, а я ведь непартийная.

— Ты—рабочий человек!—ответила Егоровна строго.

После этого они молча кончили необычную для себя работу. Надпись получилась видная и ясная, только некоторые буквы вышли неровными.

— Рейки! — сказала Егоровна, — где возьмём рейки?

Потом, вспомнив что-то, быстро пошла к выходу.

На улице мальчишки всё ещё гоняли шестами голу-

бей. Они носились самозабвенно, с улюлюканьем и пронзительным свистом.

Наталья Егоровна подошла к ним и попросила:

— Ребята, отдайте мне шест...

Те даже отбежали от неё подальше. Шесты у них были отменные: ровные, длинные, заострённые кверху; до блеска отполированные шершавыми ребячьими ладонями, они казались покрытыми лаком, — не шесты, а мечта голубятников.

— Ребята, — повторила Егоровна, — для дела надо. Ну, как мне вас уговорить?

Она даже взмахнула руками и оглянулась кругом: разве упросишь заставских ребят! Эти шесты им сейчас, может, дороже всего на свете. И продать — не продадут.

Она всё-таки сказала им негромко:

— Товарищ Ленин к нам едет. Время, видишь, позднее, а нам надо поскорей плакат такой сделать... Мы его хотим на шест, чтоб повыше.

Ребята вряд ли что поняли из её слов. Они стояли поодаль и глядели недоверчиво.

Через полчаса Катя нашла Наталью Егоровну у лабазов: присев на корточки перед мальчишками, она толковала с ними о чём-то вполголоса.

— Тётя Наташа, что ж ты? Надо искать столяра, может, уступит рейки-то...

— Выходит, надо искать столяра, — грузно подымаясь, вздохнула Егоровна.

И тогда один из мальчишек сказал сипло:

— Бери.

Наталья Егоровна хотела его обнять, он увернулся сурово.

Ребята провожали шест до самого комитета. Там они молча следили, как Егоровна размеряла его ладонью. Размерив, она сделала посредине надрез и сломала шест о колено. Один мальчишка охнул: вещь пропадала на глазах. Другой толкнул его и прошептал:

— Для дела надо, не видишь?

Катя ожидала, что все прохожие будут дивиться на плакат. Но когда они вынесли его на улицу, никто не удивился. Со всех сторон подходили люди, торопливо спрашивали:

— Когда ждут поезд?

И многие, толпясь, шли следом за плакатом.

Один старик закричал Егоровне требовательно:

— Что ж не написано, с какого вокзала?

Егоровна ответила тоже неласково:

— А ты сам соображай. С Финляндского.

Тот продолжал кричать:

— Какой будет ваш маршрут?

— По Невскому к Литейному мосту.

И старик вдруг закручинился, захолопал себя по бокам рукавицами:

— Сыны у меня тут... За сынами побегу. Успею, молодка?

Егоровна спокойно ответила:

— Успеешь.

Только обойдя весь свой район, подошли к Невскому.

Катя глядела прямо перед собой и не видела людей на тротуарах. Но сразу почувствовала: что-то кругом изменилось.

Пронзительный вопль раздался впереди. Рядом с Катей мужской голос спросил с беспокойством: «Чего это они?» Вопль повторился:

— Предатели!

Катя обернулась на крик: у самого края тротуара металось румяное лицо, чем-то похожее на то, ненавистное, что восьмой год торчит на щите у заставы.

Тогда кто-то в колонне сказал спокойно, с весёлой угрозой:

— Ну, что же, spoём нашу боевую.

И сразу вспыхнула песня:

— Смело, товарищи, в ногу...

За плакатом теперь шла не толпа. Шёл отряд питерских рабочих. Шагали по четыре в ряд, держась за руки, — песня помогала соблюдать равнение.

У Литейного Катя оглянулась. Конца колонны не было видно. В третьем ряду развалисто шёл старик, что бегал у заставы за сыновьями. По бокам его шагали два огромных парня в армяках и плисовых шапках.

Старик крикнул что-то Кате. Она не разобрала, — за песней плохо было слышно, — и на всякий случай утвердительно кивнула головой. Но старик, надсаживаясь и побагровев, продолжал кричать изо всех сил:

— Ледоход! Не пробиться морячкам!





На этот раз Катя услышала, но не поняла его слов и опять ласково кивнула ему головой.

Песня замолкла, когда глазам открылся простор Невы. Во всю ширь реки, со скрипом и ропотом, тесня одна другую, шли льдины.

— Не пробиться матросам! — повторил старик.

У моста пришлось ждать: пропускали вперёд путловцев, те шли военным строем, молча, без песен.

Потом прошла воинская часть с оркестром и огромным бархатным знаменем.

И вдруг — родилось и стало разрастаться «ура»: на набережной показалась колонна кронштадтских матросов. Ветер колыхал над чёрными бушлатами ленточки бескозырок. Матросы шли, подчёркнуто щеголяя выправкой, строго неся винтовки с примкнутыми штыками; и воинский шаг и своё оружие они полюбили недавно.

— Пробились!

Старик у самого катиного уха кричал «ура» и неистово хлопал себя по колену шапкой. Потом метнул шапку кверху, поднял её с земли, передохнул и сказал:

— Вот это праздник!

Чувство, которое испытывала Катя в ту минуту, можно назвать одним только словом: любовь. Она любила всех, кто шёл сейчас вместе с ней, она знала, что дружба её с Натальей Егоровной теперь на всю жизнь, что навсегда запомнятся ей шумный старик и огромные его сыновья; она любила Неву и ропот ледохода, матросов, их винтовки, смуглое поблёскивание штыков, — впервые заметила она смертоносную эту красоту — любила весь город, который стал вдруг своим: по его улицам плечом к плечу с ней прошли свои, близкие люди.

К Финляндскому добрались, когда уже начинало темнеть. Бледный свет фонарей на привокзальных улицах не мог побороть сумерек, и тогда рядом со знамёнами и плакатами стали загораться косматые неровные огни: дымное пламя факелов взлетало и падало, свет от факелов шёл волнами, выхватывая из полумрака головы, плечи, надписи на знамёнах.

Площадь у вокзала была по приказу властей оцеплена войсками. Командовал ими капитан с кукольно-красивым лицом. Он с недоумением глядел на людское море, заливавшее площадь, и, видно, хорошо понимал своё бессилие.

Колонну, пришедшую от Невской заставы, оттёрли к Финскому переулку; площадь была туго набита народом.

К багровым отблескам факелов присоединились голубые мечи прожекторов, и всё кругом стало тревожно-праздничным.

Где-то близко послышался и сразу заполнил всю площадь мощный рокот, по силе подобный замедленному взрыву. Народ, колыхнувшись, раздался в стороны, — к главному подъезду вокзала тяжело прогремели броневики с красными флагами на башнях.

Прошло ещё сколько-то времени... Катя не слышала ни свистка паровоза, ни грохота вагонных колёс. Она вдруг почувствовала только: народ дружно подался вперёд и она вместе со всеми. Рядом кто-то приказал страшным шопотом: «Разом берись, разом, говорю!» И она увидела старика, которого подымали за локти его сыны. Лицо у старика просветлело. Катя отчаянно, изо всех сил потянулась кверху, но впереди, кроме чёрных спин и шапок, ничего не было видно.

Сдержанный гул прошёлся по площади, — у вокзала что-то произошло. Потом — в необычном этом многолюдии — наступила такая тишина, что было слышно потрескивание факелов.

На броневике, видный всем, стоял Ленин.

Несколько секунд он молчал, наклонившись слегка вперёд. Казалось, он вглядывается в освещённые факелами надписи знамён и плакатов.

На мгновенье взгляд его задержался на дальней полосе красного ситца с нарисованными от руки неровными буквами: «К нам едет Ленин. Идём встречать!»

Слепящий луч прожектора скользнул по броневiku.

Ленин, волнуясь, поднял руку с зажатой в ней фуражкой.

Потом быстрым движением сунул фуражку в карман, протянул вперёд освобождённую руку и начал речь, никем не записанную и никем не забытую.

## А. КОРНЕЙЧУК

### ПРАВДА

#### КАРТИНА ВТОРАЯ

Ночь. Смольный. Большая комната. У боковых входных дверей стоят часовые — матрос и рабочий-красногвардеец. В середине — большие полуоткрытые двери, через которые далеко виден коридор, колонны, вооружённые красногвардейцы, начальники отрядов. На столе — телефон — полевой — коммутатор; у коммутатора матрос-авроровец. Гудки телефонов.

Авроровец. Слушаю!.. Слушаю!.. Что?.. Так... Так... Товарищ Ленин на совещании военного комитета. Так... Ого!.. Есть. Сейчас соединяю. (*Переставляет штепселя.*) У аппарата товарищ Урицкий. Просит товарища Ленина. Так... Товарищ Ленин? Соединяю с товарищем Урицким.

Матрос. Что там?

Авроровец. Ничего, товарищи, спокойно, — возле Зимнего дворца предвидится, по-моему, небольшая баня с сухим паром.

Матрос. И чего мы тут сидим, братва! Пошли к своим отрядам. Чего ждать? Сами поведём отряды...

Второй матрос. Правильно, — пошли! Адрес сами знаем.

За ним встают ещё двое, идут.

Авроровец. Стой! А приказ?

Первый матрос. Не можем мы сидеть в резерве, понимаешь — там бой начинается, а мы здесь...

Второй матрос. Пойми, браток, тут душа лопнуть может...

Авроровец. Меня, может, около телефона тоже грусть берёт, но кто велел вам оставаться в резерве? Отвечай!

Матрос. Товарищ Ленин.

Авроровец. Значит, замри, и никаких прений, понимаешь!

Матросы. Есть замри...

Телефон.

Авроровец. Слушаю... Да... Занято. *(Пишет.)* Раненых... двое наши.. три их... Обезоружили? Есть, доложу. Держитесь... Так... Так... *(Пишет.)* Так... *(Гудок второго телефона.)* Слушаешь? Я... Так... Переключаю. *(В телефон.)* Товарища Сталина. У аппарата Дзержинский. Есть. Соединяю.

Входят вооружённые Кузьма и Тарас с ручным пулемётом.

Кузьма *(к авроровцу)*. Третий отряд прибыл в распоряжение военного комитета. *(Отдаёт письменный приказ.)*

Авроровец читает.

Авроровец. Ждать здесь приказа.

Кузьма. Есть. *(Отходит в сторону.)*

Кузьма и Тарас садятся. Гудок телефона.

Авроровец. Слушаю... Так... Есть... *(Пишет.)* Есть. Повторяю: пройти через Шпалерную, соединиться с первым отрядом. Так... *(Положил трубку.)* Щеглов!

Щеглов *(матрос)*. Есть Щеглов!

Авроровец. Дрымба!

Дрымба *(обвешанный бомбами)*. Есть Дрымба!

Авроровец. Повести свои отряды через Шпалерную на случай, если юнкера и всякая...

Дрымба. Понятно. Дальше...

Авроровец. Дрымба, детка ты моя, молчи — приказ надо слушать, а не перебивать.

Дрымба. Есть.

Авроровец. Пробиться через Шпалерную и соединиться с первым отрядом. Кройте, детки!..

Дрымба, Щеглов и за ним ещё двое уходят.

Тарас. А мы когда?

Авроровец. Замри и жди. Приказы составляю не я, а товарищ Ленин, Сталин и другие товарищи, которые эту ночь понимают в мировом значении, так что замри.

Тарас. Понятно.

Входит вооружённый бомбами матрос, лоб у него перевязан платком.

Авроровец. Петя, детка! Ну, как? Кто тебя по голове стукнул?

Петя. Ваня, только не волнуйся, — юнкер по голове стукнул, но больше он стукать не будет никого, так что всё в порядке: телеграф наш — вот перехваченные телеграммы Керенского в ставку, передать товарищу Ленину.

Авроровец. Стёпа!

Стёпа (матрос). Есть!

Авроровец. Смотайся пулею, передай эти телеграммы товарищу Ленину.

Стёпа убежал.

Авроровец. Расскажи, Петя.

Петя. Только вкратце — бегу назад. На телеграфе засели юнкера и школа прапорщиков. Мы подходим. Командир мне говорит: «Петя, у тебя серьёзное горло, кричи: «Сдавайся!» Я откашлялся, ну, и, понимаешь, рывкнул. Они стреляют, мы тоже, и пошло. Ворвались мы во двор, я пробился вперёд, лечу по лестнице, стукнул меня юнкер прикладом по голове, я обернулся, отправил его к богу, вбегаю в большой зал, поднимаю бомбу и смотрю... Мать моя — полный зал...

Авроровец. Юнкеров...

Петя. ...телеграфисточек... М-мм! Детки, Ваня! Глазами моргают, перепуганные, дрожат и начинают плакать. Я им для бодрости речь врезал... «Товарищи девушки и женщины! Керенскому уже амба, власть в руках большевиков», а они молчат и дрожат... Тогда я прошёлся церемониальным маршем и приятно сказал: «Приглашаю вас всех, товарищи девушки, на свидание со мной и моими корышами в семь часов вечера на угол Литейной после искоренения мировой буржуазии...» Тут они, конечно, сразу улыбнулись, а некоторые начали пудрить носы. Тогда я скомандовал: «Садитесь к аппаратам и нашей власти стучите весело». Так что, Ваня, есть адресок... Я побежал...

Авроровец. Петя, друг, смотри...

Петя (подмигнул). В порядке, Ваня. (Ушёл.)

Далеко слышны отдельные выстрелы. Потом пулемётные очереди. Всё больше, больше.

Авроровец. Ого! (*Прислушивается, весело.*)  
Шпарьте, шпарьте... Ох, и ночь!..

Тарас (*прислушивается*). Трещат «максимы»... О,  
«кольт»... Один... другой...

Из коридора доносятся голоса, шум. Прибегают моряки, красногвардейцы, рабочие. Близятся возгласы «ура»... Авроровец побежал, посмотрел в среднюю дверь — и тихо в комнату.

Авроровец. Товарищ Ленин.

Все в комнате встают. «Ура» ближе. В дверях останавливается окружённый матросами, рабочими, солдатами В. И. Ленин. На лице его улыбка. Катится «ура». Масса напирает. Ленин у дверей обернулся, поднял руку, и всё стихло. Только слышно, как где-то далеко трещат пулемёты.

Ленин. Товарищи пролетарии, матросы, солдаты! Восстание началось... Идите, товарищи, действуйте с максимальной решительностью и неизменно переходите в наступление. Маркс и Энгельс учили пролетариат: оборона есть смерть вооружённого восстания. Ждать нельзя, иначе можно всё погубить. Смелость, смелость и ещё раз смелость... Правительство шатается, необходимо добить его любой ценой. За власть Советов, за землю крестьянам, за мир народам, за хлеб голодным — вперёд, товарищи! Мы победим, безусловно победим.

Мощное «ура» покатилося по коридору и вскоре переходит в песню «Вихри враждебные веют над нами». Ленин пожимает руки стоящим вокруг него рабочим, матросам. С песнею проходят мимо вождя красногвардейцы. Ленин входит в комнату, красногвардеец закрывает за ним дверь.

Авроровец. Товарищ Ленин, разрешите доложить. Приказ ваш выполнен. Два отряда отбыли.

Ленин. Спасибо.

Авроровец. Третий отряд прибыл в резерв. (*Смотрит бумажку.*) Командир — Кузьма Рыжов, помощник — Тарас Голота.

Ленин. Рыжов... С Балтийского завода?

Кузьма. С Балтийского, товарищ Ленин.

Ленин. Вы на Первом Всероссийском съезде выступали передо мной. (*Подает руку.*) Хорошо выступили... Помню.

Кузьма. Выступал, перебивали только сильно меньшевики и эсеры (*Смеётся.*)

Ленин. Второй раз не перебыют. *(Тоже улыбнулся.)* А вы? *(К Тарасу, подаёт руку.)* С какого завода?

Кузьма. Он крестьянин — с Украины, бедняк, хороший пулемётчик.

Ленин. Очень хорошо. С Керенским здесь покончим, поможем и товарищам украинцам, грузинам, белоруссам...

Авроровец. Вас к аппарату.

Ленин *(подошёл к телефону, взял трубку)*. У аппарата — Ленин... Так... Так... Поменьше переговоров. Наступать, наступать — это главное. Я сейчас вышлю вам в помощь отряд... Что такое?.. Не играйте в сверхгеройство. Нужен мощный кулак. Помощь примите и держите связь. *(Положил трубку, пишет записку, отдаёт Рыжову.)* Берите свой отряд и кратчайшим путём — к Зимнему.

Кузьма. Есть, товарищ Ленин. *(Кузьма идёт, за ним Тарас.)*

Тарас *(остановился у дверей)*. Товарищ Ленин! У меня к вам есть просьба.

Ленин. Что, товарищ?

Тарас. Запишите меня в вашу партию — может, убьют, так неудобно будет умирать...

Ленин *(улыбается)*. Умирать не следует, надо побеждать. Товарищ Рыжов, вы его хорошо знаете?

Рыжов. Стоящий человек Тарас, и наш во всех смыслах.

Ленин *(пишет в блокноте, вслух)*. «Просить ЦК принять в партию украинского крестьянина — бедняка Тараса...»

Тарас. Голота...

Ленин. «...Тараса Голоту в день восстания. Рекомендуют: пролетарий Кузьма Рыжов и Владимир Ленин». Поздравляю вас, товарищ Голота!

Тарас. Благодарю вас, товарищ Ленин!.. Долго искал я правду и здесь нашел её... Веди, Кузьма. Теперь мы уничтожим всё, что станет на дороге нашей...

Кузьма *(положил руку на плечо Тараса)*. Идём, Тарас!

Вышли. Ленин смотрит им вслед.

Авроровец. Ребята боевые.

Ленин. С ними можно весь мир перестроить. *(Сел на край стола и, согнувшись, что-то записывает в блокнот.)*

Гудок телефона.

Авроровец. Слушаю... Товарища Ленина?.. Кто просит? Товарищ Сталин?.. Есть!.. Есть!.. *(Ленину.)* Вас просит к аппарату товарищ Сталин.

Ленин *(подошёл, взял трубку)*. Слушаю... Да... Так... хорошо... Это очень верно... Надо сейчас же организовать специальный отряд из путиловцев... Так. Верно... Влить молодых рабочих... Так... Хорошо... Что? Приходили к вам... Опять... Каменев, Зиновьев... Так... Что ещё они говорят?.. Так... Так... Какая подлость!.. А вы им что ответили? Что... *(Рассмеялся.)* Очень хорошо. *(Смеётся)*. Если ещё раз придут к нам, скажите им, что к вашему ответу я присоединяюсь полностью.

*Занавес*

А. ТОЛСТОЙ

ХЛЕБ

*Отрывки*

Тревожные гудки, по приказу Ленина, раздались через два часа после взятия Пскова. Ревели все петроградские фабрики и заводы. Сбегавшимся рабочим раздавалось оружие и патроны. Сбор назначался в Смольном.

Всю ночь со всех районов столицы, со всех окраин шли кучки вооружённых на широкий двор Смольного, где горели костры, озаряя суровые, хмурые лица рабочих, их поношенную одежду, превращённую наспех — поясом, патронташем, пулемётной лентой — в военную; шинели и рваные папахи фронтовиков; золотые буквы на бескозырках балтийских моряков, державшихся отдельно, как будто этот необычайный смотр — лишь один из многих авралов при свежем ветре революции.

Было много женщин, в шالях, в платках, в полушубках, иные с винтовками. Кое-где в тёмной толпе поблёскивали студенческие пуговицы. От озаряемой кострами колоннады отскакивали всадники на худых лошадёнках. Люди тащили пулемёты, связки сабель, винтовки. Охрипшие голоса выкрикивали названия заводов. Кучки людей перебегали, строились, сталкиваясь оружием.

— Смирна! — надрывались голоса. — Стройся! Владующие оружием — шаг вперёд!..

Снова пронеслись косматые, храпящие лошадёнки. Хлопали двери под колоннадой. Выбегали военные, ныряли в волнующуюся толпу... В костёр летел кем-то принесённый золочёный стул, высоко взмётывая искры. Серые облака рвали свои лохмотья о голые вершины

деревьев, заволакивали треугольный фронто́н Смольного.

Из темноты широкого Суворовского проспекта подходили новые и новые отряды питерских рабочих, поднятых с убогих коек и нар, из подвалов и лачуг неумолкаемой тревогой гудков...

В коридорах Смольного рабочие двигались сплошной стеной; одни — вверх, по лестницам, другие, с оружием и приказами, наспех набросанными на клочках бумаги, — вниз, в морозную ночь, на вокзалы.

В третьем этаже, где находился кабинет Ленина, в этой давке протискивались вестовые, курьеры, народные комиссары, секретари партийных комитетов, военные, члены Всероссийского центрального исполнительного комитета и Петроградского Совета. Здесь видели прижатых к стене коридора растерянных «левых коммунистов». Здесь Иван Гора своими ушами слышал, как старый путиловский мастер в железных очках, притиснутый к вождю «левых коммунистов», говорил ему:

— Вот, садова 'голова, народная-то война когда начинается... Это, видишь, тебе — не фунт дыму...

Владимир Ильич у себя в кабинете — возбуждённый, быстрый, насмешливо-колючий, решительный — руководил бурей: рассылал тысячи записок, сотни людей. От телефона бежал к двери, вызывал человека, расспрашивал, приказывал, разъяснял короткими вопросами, резкими обнажёнными формулировками, как шпорами, поднимал на дыбы волю у людей, растерявшихся в этой чудовищной сутолоке.

Здесь же, освободив от бумаг и книг место за столом, работал Сталин. Сведения с фронта поступали ужасающие, позорные. Старая армия окончательно отказывалась повиноваться. Матросский отряд, на который возлагались большие надежды, внезапно, не приходя даже в соприкосновение с неприятелем, оставил Нарву и покатился до Гатчины... В минуты передышки Владимир Ильич, навалившись локтями на кипы бумаг на столе, глядел в упор в глаза Сталину.

— Успеем? Немецкие драгуны могут уже завтра утром быть у Нарвских ворот.

Сталин отвечал тем же ровным, негромким, спокойным голосом, каким вёл все разговоры:

— Я полагаю — успеем... Роздано винтовок и пулемётов... (Он прочёл справку.) Немецкое командование

уже осведомлено о настроении рабочих... Шпионов достаточно... С незначительными силами немцы вряд ли решатся лезть сейчас в Петроград...

В соседней пустой комнате, где на единственном столе была развёрнута карта-десятивёрстка, работал штаб. Ленин вызвал военных специалистов из Могилёва, где они ликвидировали штаб бывшей ставки. Ленин сказал им: «Войск у нас нет, — рабочие Петрограда должны заменить вооружённую силу». Генералы представили план: выслать немедленно в направлении Нарвы и Пскова разведывательные группы по тридцать — сорок бойцов и тем временем формировать и перебрасывать им в помощь боевые отряды по пятьдесят — сто бойцов. Ленин и Сталин одобрили этот план. Немедленно, в этой же комнате с одним столом и табуреткой, штаб начал формирование групп и отрядов и отправку их на фронт.

Всю ночь отходили поезда на Псков и Нарву. Многие из рабочих первый раз держали винтовку в руках. Эти первые отряды Красной Армии были ещё ничтожны по численности и боевому значению. Но у людей — стиснуты зубы, напряжён каждый нерв, натянут каждый мускул. Поезда пронеслись по ночным снежным равнинам. Питерские рабочие понимали, что вступают в борьбу с могучим врагом, и враг этот носит имя — мировой империализм... Это сознание оказывалось более грозным оружием, чем германские пушки и пулемёты.

Немцы надеялись без особых хлопот войти в Петроград. Их многочисленные агенты готовили в Петрограде побоище — взрыв изнутри. Тысячи немецких военнопленных — по тайным приказам — подтягивались туда с севера, с востока — из Сибири. Питерские обыватели перешёптывались, глядя на кучки немцев, без дела шатающихся по городу. Но в одну чёрную ночь Петроград, по распоряжению Ленина и Сталина, был сразу разгружен от германских подрывников. Взрыв не удался.

Когда шпионы начали доносить немцам о возбуждении питерских рабочих, о всеобщей рабочей мобилизации, когда их передовые части стали наткаться на огонь новосформированных пролетарских частей — занятие северной столицы показалось делом рискованным и ненадёжным.

Иван Гора с делегатами от петроградских заводов сидел за длинным столом в чинном и тихом кабинете Совета Народных Комиссаров. За окном — стоя московских галок, обеспокоенных всё более скудным удовольствием, кружилась над зубцами кремлёвских стен. Чинная тишина кабинета, четвертушка бумаги на вишнёвом сукне, кресла в чехлах, медленное тиканье стенных часов — всё это понравилось делегатам, — здесь советская власть сидела прочно.

Вошёл Владимир Ильич, всё в том же поношенном пиджачке, — свой, простой. Вошёл он из боковой дверцы и сейчас же притворил её за собой, повернул ключ.

Коротко поздоровался. Все встали.

— Садитесь, садитесь, товарищи! — Он сел в конце стола на дубовый стул со спинкой — выше его головы. Быстро оглядел худые, морщинистые, суровые лица рабочих, и по глазам его, желтоватым и чистым, с маленькими, как просинка, зрачками, было заметно, что сделал соответствующий вывод. Заметив Ивана Гору, приподнял бровь. Иван Гора улыбнулся большим ртом от уха до уха.

Владимир Ильич вытащил из портфеля, лежащего на коленях, исписанный листок, положил его перед собой и опять поднял голову. Лицо у него было осунувшееся, как после болезни.

Делегаты молча глядели на него, иные вытягивали шеи из-за плеча товарища. Многие видели Ленина так близко в первый раз. Они приехали к нему в Кремль по крайней нужде: Петроград умирал от голода. Деревня теперь и за деньги не давала хлеба. Голод всё туже затягивал пояс на пролетарском животе.

— Рассказывайте. Будем думать, какой найти выход, — сказал Владимир Ильич и опять, приподняв бровь, взглянул на Ивана Гору. — На свете не бывает «ничего невозможного».

Иван ахнул: «Помнит!» Смутился, и оттого, что не мог не глядеть на Владимира Ильича, не улыбаться от уха до уха при виде его, покраснел густо.

Сидевший рядом с Лениным депутат, старый, в железных очках, положив отёкшие руки на лист бумаги, начал:

— Плохо, Владимир Ильич! Голодуем. Держимся, крепимся, пролетарскую свободу не продадим. Но тревожимся: до урожая ждать три месяца, а есть нечего,

детишки по весне начали помирать. Жалко, Владимир Ильич. У женщин шатается воображение. Еду только во сне видим.

Другой депутат, широкоплечий новгородец, мрачный и красивый, с упавшими на лоб чёрными кудрями, сказал, не глядя ни на кого:

— Две недели петроградские районы могут продержаться при условии осьмушки. Через две недели начнём помирать. На заводах где половина, где и больше рабочих военного времени ушло. Мы о них, пожалуй, и не жалеем. Осталось пролетарское ядро. Но его надо кормить...

Другие депутаты не спеша рассказывали подробности о бедствиях города, о том, как приходится заставлять частников выпекать хлеб со ста процентами припёку: «Получается такой жидкий хлеб, Владимир Ильич, горстями его черпаешь; и этой гадости выдаём только по осьмушке».

Рассказывали о беспорядках в продовольственных управах, где повсюду наталкиваешься на тайных организаторов голода. На заводах — то тут, то там — вспыхивает недовольство и обнаруживаются шептуны; одного обнаружат, на место его — двое. Продотряды посылаются неорганизованно, часто в них попадают те же шептуны; привозят мешки для себя, а на собраниях плачут, что-де ничего не могли добыть...

— К примеру, Владимир Ильич, — откашлявшись, пробасил Иван Гора. — У нас на заводе секретаря партийного коллектива, товарища Ефимова, чуть не убили, едва отстояли... Вдруг в литейном цеху — митинг. В чём дело? Шум, крик: «У Ефимова на квартире — мука и сахар». И так кричат, так разгорячились, — невозможно не верить... Я вижу, дело плохо, — к телефону. Ефимов — как раз дома. Я ему — тихо, чтобы ребята не слышали: «Уходи».

Он переспрашивает. Я в другой раз:

— Уходи.

Он смеётся:

— Да куда уходить-то?

Я ему внушаю: «Уходи».

— Да кто говорит-то?

— Иван Гора, говорю. Завод к тебе идёт.

Он понял, в чём дело. Отвечает:

— Чего же им трудиться? Я сам к ним приду.

Приходит в литейную. Входит смело, глядит — огнём жжёт. Потом-то мне рассказывал: «Голову-то я держал высоко, а у самого кровь в жилках сжалась». Ребята увидели его — ревут: «Спекулянт! Сливочное масло жрёшь!» Рвутся к нему — вот-вот убьют. Он стоит, поднял руку, ждёт, когда отгорланят.

— Ну? — говорит спокойно. Чего кричать-то? Вот ключ. — И с досадой бросает ключ от своей квартиры. — Идите общитесь. Найдёте хоть кусок хлеба, тогда мне смерть. Ступайте, я обожду.

Человек двадцать побежало. Он стоит, закурил.

Возвращаются наши ребята, головы повесили, — самим стыдно в глаза ему глядеть.

— Вот, нашли, — говорят — и показывают заплевывающую корочку...

Он тут сразу и повеселел:

— Значит, убедились — муки, сахару у меня нет... Теперь давайте у горлопанов поищем... — И показывает на Васюку Васильева, который два дня вернулся с продотрядом и слёзы лил. Мы — к Васюке: «Веди, показывай».

— И нашли у него? — быстро спросил Ленин.

— А как же... Мука и сало, и в кухне привязана коза. Продукты и козу приволокли на митинг. Ребята озверели. Коза им, главное, в досаду. «Это, — кричат, — мировой позор!»

— Так, так, так, — повторил Ленин, уже не слушая рассказа. — Так вот, товарищи. Теперь позвольте мне взять слово...

— ...Просим, — сказали депутаты.

.....  
— ...Жалобами делу не поможешь... Положение страны дошло до крайности... В стране голод... Голод стучится в дверь рабочих, в дверь бедноты...

Ленин начал говорить негромко, глуховатым голосом, даже как будто рассеянно... Грудь его была прижата к столу, руками он придерживал портфель на коленях. Депутаты, не шевелясь, глядели ему в осунувшееся, желтоватое лицо. Не спеша стукали стенные часы...

— ...Все эти попытки добыть хлеб только себе, своему заводу — увеличивают дезорганизацию. Это никуда не годится... А между тем в стране хлеб есть. — Он пробежал глазами цифры на лежащем перед ним

листке. — Хлеба хватит на всех. Голод у нас не оттого, что нет хлеба, а оттого, что буржуазия даёт нам последний решительный бой... Буржуазия, деревенские богатеи, кулаки срывают хлебную монополию, твёрдые цены на хлеб. Они поддерживают всё, что губит власть рабочих... — Он поднял голову и сказал жёстко: — Губит власть рабочих, добивающихся осуществить первое, основное, коренное начало социализма: «Кто не работает, тот не ест»...

Он помолчал — и опять:

— Девять десятых населения России согласны с этой истиной. В ней основа социализма, неискоренимый источник его силы, неистребимый залог его окончательной победы.

Он отодвинул стул, положил портфель и продолжал говорить уже стоя, иногда делая несколько шагов у стола:

— На-днях я позволю себе обратиться с письмом к вам, питерские товарищи... Питер — не Россия: питерские рабочие — малая часть рабочих России. Но они — один из лучших, передовых, наиболее сознательных, наиболее революционных, наиболее твёрдых отрядов рабочего класса... Именно теперь, когда наша революция подошла вплотную, практически к задачам осуществления социализма, именно теперь на вопросе о главном — о хлебе — яснее ясного видим необходимость железной революционной власти — диктатуры пролетариата...

Он подкрепил это жестом, протянул к сидящим у стола руку, сжал кулак, словно натягивая вожжи революции...

— «Кто не работает, тот не ест», — как провести это в жизнь? Ясно, как божий день, — необходима, во-первых, государственная монополия... Во-вторых — строжайший учёт всех излишков хлеба и правильный их подвоз... В-третьих — правильное, справедливое, не дающее никаких преимуществ богатому, распределение хлеба между гражданами — под контролем пролетарского государства.

Он с усилием начал было открывать захлопнувшийся замочек портфеля. Прищурясь, взглянул на часы...

— ...Превосходно... Вы говорите: на Путиловском заводе было сорок тысяч. Но из них большинство — «временные» рабочие, не пролетарии, ненадёжные,

дряблые люди... Теперь осталось пятнадцать тысяч. Но это — пролетарии, испытанные и закалённые в борьбе...

Вот такой-то авангард революции — и в Питере и во всей стране — должен кликнуть клич, должен подняться массой. Должен понять, что в его руках спасение страны... Надо организовать великий «крестовый поход» против спекулянтов хлебом, кулаков, мироедов, дезорганизаторов, взяточников...

Депутаты уже не усидели у стола. Движением руки он их поднял, и они окружили Владимира Ильича, кивая, поддакивая, вздыхая от полноты ощущений... Иван Гора стоял прямо перед ним, глядя сверху вниз раскрытыми глазами на твёрдый, твёрдо выбрасывающий слова рот.

— ...Только массовый подъём передовых рабочих способен спасти страну и революцию... Нужны десятки тысяч передовиков, закалённых пролетариев... Настолько сознательных, чтобы разъяснить дело миллионам бедноты во всех концах страны и встать во главе этих миллионов... Настолько выдержанных, чтобы беспощадно отсекал от себя и расстреливать всякого, кто «соблазнился» бы — бывает — соблазнами спекуляции... Настолько твёрдых и преданных революции, чтобы вынести все тяжести «крестового похода».

Это сделать потруднее, чем проявить героизм на несколько дней... Революция идёт вперёд, развивается и растёт... Растёт ширина и глубина борьбы. Правильное распределение хлеба и топлива, усиление добычи их, строжайший учёт и контроль над этим со стороны рабочих и в общегосударственном масштабе — это настоящее и главное преддверие социализма... Это уже не «общереволюционная», а именно коммунистическая задача...

Подняв палец, Владимир Ильич повторил это, и зрачки его как бы искали в глазах слушателей: «Понятно? Понятно?»

Иван Гора, тоже вытянув большой палец, проговорил:

— Правильно. Это задача видимая. Можем, Владимир Ильич.

— Можем, можем, — заговорили депутаты...

— Товарищи, одно из величайших, неискоренимых дел Октябрьского — советского — переворота в том, что передовой рабочий пошёл «в народ», — пошёл как ру-

ководитель бедноты, как вождь деревенской трудящейся массы, как строитель государства труда... Но, товарищи, начав коммунистическую революцию, рабочий класс не может одним ударом сбросить с себя все слабости и пороки, унаследованные от общества помещиков и капиталистов. Но рабочий класс может победить и неминуемо победит в конце концов старый мир, его пороки и слабости, если против врага будут двигаться новые и новые, всё более многочисленные, всё более просвещённые опытом, всё более закалённые на трудностях борьбы отряды рабочих...

Владимир Ильич кивнул — так-то, мол... Отступил на шаг. Большие пальцы его рук попали в жилетные карманы. С висков на углы век набежали морщинки, глаза засветились юмором и добродушием...

— Вот, так-то, — сказал он.

Иван Гора засопел, с усилием удерживаясь, чтобы не сгрести лапами этого человека, не расцеловать его — друга...

— Теперь, товарищи, набросаем конкретный план действия... Присаживайтесь.

Соотношение вооружённых сил было таково, что контрреволюция, казалось, неизбежно, как в шахматной партии, побеждала. Чудес нет. В Москве собралось всероссийское совещание партии меньшевиков (ещё входящих во Всероссийский центральный исполнительный комитет). Они вынесли резолюцию: «Россию может спасти только союз с Антантой и твёрдый лозунг: «Назад — к капитализму».

«Левые коммунисты» бешено вели фракционную борьбу против Ленина.

Твёрдо, наперекор всему, стояли Ленин, Сталин, Свердлов. Нужно было, не теряя дня и часа, изменить соотношение сил.

Полчищам и бандам контрреволюции, японским дредноутам, германским пушкам и антантовскому золоту, неисчерпаемым запасам продовольствия и одежды, угля, нефти и железа — на той стороне — Октябрьская революция противопоставляла конкретные задачи всемирно-исторической трудности и значения.

Доклад Ленина «Очередные задачи советской власти», резолюция Всероссийского центрального исполни-

тельного комитета от двадцатого мая, воззвание Совета Народных Комиссаров и декрет одиннадцатого июня об организации деревенских комитетов бедноты прогремели медными трубами над голодными городами, над всем взъерошенным, взволнованным, бескрайным деревенским миром. Декреты провозглашали жизненные основы социализма. Учреждались деревенские комбеды. Творчество никем никогда не испробованного, никем никогда не виданного социализма, творчество от самых низов жизни до планирующих проблем Совета народного хозяйства — становилось отныне реальной формой жизни.

В голодной Москве был созван первый съезд советов народного хозяйства, и на нём Ленин развивал основы социалистического переустройства страны.

Члены съезда, получавшие в перерыве заседаний по кусочку чёрного, сырого, остистого хлеба, слушали, дебатировали и принимали решения со спокойствием людей, сознающих сравнительные размеры между временным затруднением и величиной исторической задачи. В этом не было ничего необычайного: в этом выражался творческий дух Октябрьской социалистической революции, — когда мучительный голод подвёл её не к смерти, как надеялись интервенты и контрреволюционеры, но к творчеству новых, никогда не испытанных форм хозяйственной жизни.

Политическая и экономическая власть в стране отошла к классу, ведущему за собой впервые в истории человечества большинство населения — всю массу трудящихся и эксплуатируемых. Поставлены величайшей важности и величайшей трудности задачи: «Нам надо совершенно по-новому организовать самые глубокие основы жизни сотен миллионов людей».

Так говорил Ленин на этом съезде. Делегаты слушали его, — худые лица были серьёзны, лбы наморщены. Он отпивал несколько капель из стакана и, подыскивая точные формулировки идей, слегка картавя, говорил залу:

— У нас нет предварительного опыта. Всё, что мы знали, что нам точно указывали лучшие знатоки капиталистического общества, наиболее крупные умы, предвидевшие развитие его, — это то, что преобразование должно исторически неизбежно произойти по такой-то крупной линии, что частная собственность на средства

производства осуждена историей, что она лопнет, что эксплуататоры неизбежно будут экспропрированы...

Это мы знали, когда брали власть для того, чтобы приступить к социалистической реорганизации, но ни форм преобразования, ни темпа быстроты развития конкретной реорганизации мы знать не могли. Только коллективный опыт, только опыт миллионов может дать в этом отношении решающие указания...

Нам нужно в самом ходе работ, испытывая те или иные учреждения, наблюдая их на опыте, проверяя их коллективным общим опытом трудящихся, и главное, опытом результатов работы, — нам нужно тут же, в самом ходе работы, и притом в состоянии отчаянной борьбы и бешеного сопротивления эксплуататоров, строить наше экономическое здание. Понятно, что при таких условиях нет ни тени основания для пессимизма...

Совет Народных Комиссаров не падал на колени, не молил пощады. Партия большевиков круто поворачивала Октябрьскую революцию навстречу трудностям, где она должна была черпать силы и творчество. Трудности были и в том, чтобы победить голод и разорвать сужающийся круг контрреволюции, и в той, ещё более грандиозной задаче — перед рабочим классом — обратиться весь накопленный капитализмом запас культуры, знаний и техники на потребности построения новой жизни.

Вместо хлеба, дров для печки и тёплой одежды, нужных сейчас, немедленно, — революция предлагала мировые сокровища, революция требовала от пролетариата, взявшего всю тяжесть власти, всю ответственность диктатуры, — усилий, казалось, сверхчеловеческих. И это, и только это спасло революцию: величие её задач и суровость её морального поведения.

Три лозунга были выкинуты в это страшное время: первое — централизация продовольственного дела с твёрдыми ценами на хлеб, который должен быть взят у кулачества «крестовым походом» продотрядов; второе — объединение пролетариата, самых широких, ещё тёмных и забитых слоёв трудящихся, и третье — организация деревенской бедноты, всех миллионов раскиданных по необъятным деревенским хозяйствам батраков, бедняков, маломощных.

Владимир Ильич щёлкнул выключателем, гася лампочку на рабочем столе (электричество надо было экономить). Потёр усталые глаза. За незанавешенным раскрытым окном ещё синел тихий вечер. Засыпая, возились галки на кремлёвской башне...

— Я только что получил сведения, правда ещё не проверенные, — сказал Сталин. — В Царицыне, Саратове и Астрахани советы отменили хлебную монополию и твёрдые цены...

— Головотяпы! — Владимир Ильич потянулся за карандашом, но не взял его. — Слушайте, ведь это же чорт знает что такое!

— Не думаю, чтобы просто головотяпство... На Нижнем Поволжье с хлебозаготовками настоящая вакханалия... Ещё хуже на Северном Кавказе и в Ставропольской губернии. Не сегодня — завтра Краснов перережет дорогу на Тихорецкую, мы потеряем Кавказ и Ставрополь. Так дальше никуда не годится...

Галок на башне что-то встревожило, они поднялись и снова сели.

— Конкретно, — что вы предлагаете, товарищ Сталин?

Сталин потёр спичку о коробку, — головка, зашипев, отскочила, он чиркнул вторую, — огонёк осветил его сощуренные, будто усмешкой блестящие глаза с приподнятыми нижними веками.

— Мы недооцениваем значение Царицына. На сегодняшний день Царицын — основной форпост революции, — сказал он, как всегда, будто всматриваясь в каждое слово. — Магистраль Тихорецкая — Царицын — Поворино — Москва единственная, оставшаяся у нас питающая артерия. Потерять Царицын — значит дать соединиться донской контрреволюции с казацкими верхами Астраханского и Уральского войска. Потеря Царицына немедленно создаст единый фронт контрреволюции от Дона до чехословаков. Мы теряем Каспий, мы оставляем в беспомощном состоянии советские войска Северного Кавказа.

Владимир Ильич включил лампочку. Белый свет лёг на бумаги и книги, на большие, с рыжеватыми волосками его руки, торопливо искавшие какой-то листочек. Сталин говорил вполголоса:

— Всё наше внимание должно быть сейчас устремлено на Царицын. Оборонять его можно, — там трид-

цать пять, сорок тысяч рабочих, и в округе — богатейшие запасы хлеба. За Царицын нужно драться.

Владимир Ильич нашёл, что ему было нужно, быстро облокотился, положив ладонь на лоб, пробежал глазами исписанный листочек:

— Крестовый поход за хлебом нужно возглавить, — сказал он. — Ошибка, что этого не было сделано раньше. Прекрасно! Прекрасно! — Он откинулся в кресле, и лицо его стало оживлённым, лукавым. — Определяется центр борьбы — Царицын. Прекрасно! И вот тут мы и победим...

Сталин усмехнулся под усами. Со сдержанным восхищением он глядел на этого человека — величайшего оптимиста истории, провидящего в самые тяжёлые минуты трудностей то новое, рождаемое этими трудностями, что можно было взять как оружие — для борьбы и победы...

Тридцать первого мая в московской «Правде» был опубликован мандат:

«Член Совета Народных Комиссаров, Народный Комиссар Иосиф Виссарионович Сталин назначается Советом Народных Комиссаров общим руководителем продовольственного дела на юге России, облечённым чрезвычайными правами.

Местные и областные совнаркомы, совдепы, ревкомы, штабы и начальники отрядов, железнодорожные организации и начальники станций, организации торгового флота, речного и морского, почтово-телеграфные и продовольственные организации, все комиссары обязаны исполнять распоряжения товарища Сталина.

Председатель Совета Народных Комиссаров

*В. Ульянов (Ленин)».*

В. ИВАНОВ

ПАРХОМЕНКО

*Отрывки*

Взглянув в лицо Пархоменко, Сталин, видимо, подумал о Ламычеве, о его батарее, — и в глазах его мелькнуло то же самое умиление, которое овладело Пархоменко. Но как бы давая знать, что на кавалерийский рейд, о котором говорил Ламычев, сейчас особенно рассчитывать не приходится, он сказал:

— Весь удар придётся Царицыну принять грудью. Вот почему я думаю, что вам, товарищ Пархоменко, придётся отложить некоторые дела и съездить за снарядами.

Так как разговор шёл чрезвычайно спокойно и Сталин, когда говорил, вынул из чернильницы ручку, накрыл чернильницу бумажкой, то Пархоменко подумал: разговор идёт о том, что нужно ехать за снарядами в соседние армии. И, зная «местничество» этих армий, неразбериху, существовавшую там, и множество других условий, он убеждённо сказал:

— Снарядов не дадут.

— Почему не дадут? Нужно убедить, поговорить. Кроме того, я написал письмо одному товарищу, — и Сталин взял заготовленное письмо.

Пархоменко махнул рукой.

— И с письмом не дадут! Разве они понимают...

— Мне кажется, есть все основания думать, что этот товарищ, — и Сталин слегка взмахнул письмом, — поймёт вас. И поймёт и поможет.

— И снарядов даст?

— Полагаю, и снарядов даст.

Так как на лице собеседника всё ещё видно было

недоверие, то Сталин указал на стул. Пархоменко сел и продолжал:

— Вы наших соседей знаете, товарищ Сталин. Ну, хорошо: допустим, берут они к себе тех военспецов, которых мы выгоняем. Братъ — бери, но зачем же верить им? Я не могу даже поверить, чтобы из среды этих людей выходили когда-то умные люди.

— Мне тоже кажется, что не оттуда вышли Белинский, Добролюбов, Чернышевский. — Он, улыбнувшись и чуть приподняв брови, колыхнул письмом: — Поезжайте, товарищ Пархоменко. Уверяю вас, что вы столкуетесь с этим товарищем.

— Да кто он?

— Ленин.

Наступило молчание. Сталин, переложив письмо в левую руку, правой оперся о стол и внимательно глядел в чуть побледневшее, взволнованное лицо Пархоменко.

— И я должен везти это письмо?

— Да.

— К товарищу Ленину?

— Да.

Пархоменко шумно вздохнул.

— Опасаюсь, что не справится.

— Почему? — Сталин прочёл письмо. В письме были только четыре фразы, настаивавшие на срочном порядке удовлетворения требований Царицына о вооружении. Затем он взял мандат Пархоменко и спросил: — Разрешите подписать ваш мандат?

— Но письмо-то очень короткое, товарищ Сталин.

— А вы разъясните, что будет непонятно. Вы едете не как передатчик письма, а как человек, знающий нужды фронта и умеющий рассказать об этих нуждах. Мы посылаем вас не стучать кулаком по столу в канцеляриях, для этого можно найти кулаки гораздо тяжелее ваших. Здесь в мандате написано, что вы должны разыскивать и направлять военные грузы на имя Военного совета СКВО, получать вооружение и снаряжение. При вас команда в сорок человек. Достаточно?

— Достаточно.

— Я тоже думаю, достаточно. Вот здесь напечатано: «Командируется по особо важным делам», — это простая формальность. Вы уже давно командированы ра-

бочим классом по особо важным делам. В один день соберётесь?

— А почему не собраться?

— Команду себе советую выбрать покрепче — и таких людей, которые могли бы быть вам полезны в Москве.

Собраться в один день оказалось действительно трудно. Особенно трудно было выбрать людей, потому что все люди, полезные в Москве, были так же полезны и необходимы в Царицыне. Отдел снабжения был беден работниками, и Пархоменко с трудом отобрал в нём пять писарей, которые много ездили по железным дорогам и знали порядки на них. Кроме того, Пархоменко взял всех своих ординарцев. В разгар сборов пришёл большой, плечистый человек с перевязанной рукой. Он оказался молотобойцем с орудейного завода. Указав на руку, он сказал:

— Ходатайствую про Москву. Фамилия моя Пётр Чесноков. Рука, похоже, прострелена. Но другая в порядке.

Он встал позади Пархоменко, взял его левой рукой за пояс и поднял. Пархоменко рассмеялся.

— Чего же ты хочешь из Москвы?

— Сам хочу в Москву поехать.

— Зачем?

— Вшей кормил в окопах до того, что загнуло меня в комок глины. Пока стрелял, — азарт, конечно, про жизнь не думал. Вышел, ну, просто изболелся сердцем, что существует такой человек — Ленин, а я его ещё и не видал. Пока свободен, не съездить ли, думаю?..

Пархоменко захохотал. Чесноков тоже захохотал.

— Суматоха у тебя в голове, Чесноков.

— Это верно, что суматоха. Отчего и прошусь. Кабы меньше суматохи было, я бы спокойно себе выздоравливал. Берёшь, что ли?

— Не могу я тебя взять. Мешать только будешь.

— Ну-у! Я-то не помешаю...

И Чесноков, верно, не помешал, а наоборот, оказался очень удачным помощником. Он сразу посоветовал взять побольше многосемейных: «Таких, у которых на лице есть тоска». Они, по мнению Чеснокова, тоскуя по семье, скорее и вернее привезут в Царицын составы со снарядами. Посоветовал он также взять несколько железнодорожников, — и сам рекомендовал

трёх, очень степенных и знающих людей. Когда сборы были окончены, он отвёл Пархоменко в сторону и сказал:

— Кадеты, слышь, свозят артиллерию к станции Лог. Хотят отрезать. Мой совет такой: что надо торопить железнодорожников, а теплушку изнутри заложить тюками хлопка. Хлопок — он пулю хорошо глотает.

Пархоменко было не до разглядывания столицы: он весь был поглощён стремлением добыть, отправить и гнать быстрее составы со снарядами и оружием. Но всё же, если бы его спросили, что его удивляет в Москве, то он бы сказал, что она удивляет его своим цветом. В столице преобладал чёрный цвет, как будто бы кто-то поднял гигантским плугом непаханную землю и пласты её обрушились на эти улицы и дома. Штукатурка с домов осыпалась, обнажив кроваво-чёрные кирпичи. Трамваи, очень редкие, с выбитыми окнами, тоже всюду, где могли, обнажали и чёрное железо, и потемневшее дерево. Все магазины были заколочены, и золото на чёрных вывесках, как-то необычайно быстро потускневшее, ещё более подчёркивало черноту. Люди были в защитном, но тоже почерневшем, грязные и небритые, как бы покрытые копотью, так что слёзы на лицах прокладывали себе отчётливую дорогу, как две колёса хорошо объезженных рельсов.

...Он пошёл в Кремль.

— Запишите на приём к товарищу Ленину, — сказал он секретарю. — Пархоменко.

Секретарь — высокий, худощавый рабочий в синей рубашке и в чёрном суконном пиджаке — посмотрел на листок и сказал:

— Чего же вас второй раз записывать? Вы уже значитесь, товарищ Пархоменко.

— Кем я записан?

— Мной.

— Почему?

— Потому что вас разыскивает товарищ Ленин. Пойдёмте.

Несколько человек, остановившись у дверей кабинета, оживлённо и торопливо досказывали, как им каза-

лось, чрезвычайно ценные слова, которые почему-то не пришли им в голову на заседании и не высказав которых нельзя уйти.

Владимир Ильич стоял, закинув назад руки и слегка опираясь ими о край стола, как бы отталкиваясь от него. Он слушал седого, краснолицего журналиста, передававшего содержание задуманной им антирелигиозной книги. Владимир Ильич время от времени наклонялся вперёд, и в движении его корпуса и в сверкавших глазах чувствовалось желание возможно лучше понять собеседника и помочь ему. Иногда он выбрасывал из-за спины руку и называл труд, с которым автору необходимо познакомиться, и этот острый взмах руки как бы подавал и раскрывал необходимую книгу.

Расслышав две-три фразы, Пархоменко сразу же ощутил себя вдвинутым в новую и крайне интересную для него атмосферу стремительного движения простой и в то же время сложной мысли, и сразу же он понял: здесь можно и должно высказать то важное и горькое, что копилось в нём последние часы. Увидав его, Ленин оставил собеседника, быстро подошёл, пожал руку и сказал:

— Прекрасно, что вы здесь. Прекрасно! — И он спросил вдогонку уходящему широкоплечему человеку, с глазами навыкат: — Сколько же в этом месяце, Пётр Анисимыч, ваша фабрика носков выпустит? А чулок?

Пётр Анисимыч подкатился и, мягко крутя короткими руками, начал снова доказывать, что в этом месяце фабрику трикотажа пустить невозможно. Ленин строго взглянул на него и резко, по-военному оборвал:

— Если вам приказано пустить фабрику, потрудитесь подчиниться. И, вообще, работать нужно лучше, быстрее, тщательней.

Сразу же в кабинете стало тише, и беседовавшие у дверей ушли.

— Анисимов, военный комиссар Астрахани, телеграфирует, что «положение с Царицыном безвыходное. Вопрос стоит об эвакуации...» — прочёл он взятую со стола телеграмму, с досадой поглядывая на дверь, как бы читая эту телеграмму не Пархоменко, а ушедшему болтливому текстильщику. Затем, нахмурив лоб и поведя плечом, он как бы оттолкнул текстильщика и внимательно поглядел на Пархоменко.

— Мы так вопроса не ставим, — тихо сказал Пархоменко. — Царицын не падёт.

— Кто — «мы»?

— Царицынский фронт, Владимир Ильич.

— А категоричность-то какая у астраханцев, категоричность! Может быть, вы не знаете того, что они о вас знают? Гм-гм!

Ленин, закинув руки за спину, прошёлся по комнате. Сквозь окна слышно было, как прошла какая-то часть, кто-то отдал команду, затем пробежал автомобиль, и неподалеку от окна, шёлково трепеща крыльями, пролетела стая голубей. Ленин проводил их взором. Несмотря на надпись — «не курить», в комнате ощущался лёгкий запах табачного дыма. Возле чернильницы, у лампы, Пархоменко разглядел тлеющий окурок, — наверное, уходивший закурил в дверях, затем вернулся и, увидав надпись, спрятал его здесь. Пархоменко придавил окурок пальцем. Ленин быстро обернулся.

— Здесь не курят.

— Я — убрать, — сказал Пархоменко.

Ленин стремительно махнул рукой и шутиливо сказал:

— И, вообще, вы не слушаетесь, Пархоменко! Гм! Вы первый раз в Москве, так? Почему же вы не идёте ко мне? Неужели вы один думаете справиться со всеми прохвостами, которых довольно много сохранилось ещё в наших учреждениях? — Он улыбнулся. — Хорошо, что значительное число их убежало, а то было бы ещё трудней.

— Это я чувствую, Владимир Ильич, — сказал Пархоменко и тоже улыбнулся.

— Следовательно, вам надо быть чрезвычайно настойчивым. — Ленин оглядел его сверху донизу и снизу доверху и, видимо, довольный им, сказал: — И хорошо, что прислали вас.

Он взглянул искоса на его широкие плечи и добавил:

— Садитесь, пожалуйста. И можете курить!

С острым выражением ожидания, восхищения и радости перед той громадной и ясной работой мысли, о которой он узнает подробно, Ленин стал выпрашивать, как организована защита Царицына и в точности ли выполняются все указания Сталина.

Когда Пархоменко окончил рассказ, Ленин быстро снял руки со стола и проговорил:

— У вас все предпосылки победы. При энергии Сталина, при его уме вы не почувствуете недостатка сил. Что же касается техники, то крепостная стена из бронепоездов позволяет успешно сжать фронт и на этом выиграть.

— Снаряжение... — начал было Пархоменко.

— Снаряжение лежит в Москве, ждёт вас.

— Оно может ждать долго.

— С вашими-то плечами да не вывезти снаряжения.

Ленин рассмеялся, ещё раз оглядев его. Смех у него был удивительно объёмный, и видно было: смеялся он от удовольствия видеть, что именно вот такого упорного и настойчивого рабочего послал Сталин в Москву. Свет, уже вечерний, падал из узкого окна на его голову, золотя её. Его смеющиеся глаза так и играли под этим светом, как бы говоря: «А ведь это замечательно, совершенно замечательно!»

— Вы срочно получите всё несбходимое!

Он быстро вышел за дверь, сказал что-то и, вернувшись, повторил:

— Срочно получите, безотлагательно, немедленно!

Вошёл секретарь. Ленин тем строгим, военным голосом, которым он говорил с текстильщиком, сказал:

— Если товарищ Пархоменко будет мне звонить по телефону, соедините меня немедленно. Есть у вас свободная машина?

— Нет, Владимир Ильич.

— Тогда дайте ему мою машину. А если мне куда понадобится ехать, то пусть то учреждение, которому я необходим, везёт меня. — Он повернулся к Пархоменко: — Вообще вы требуйте больше, Москву не жалейте! Если вас будут упрекать в грубости или чрезмерной настойчивости, пускай позвонят ко мне: я докажу, что это не так. Ну-с, садитесь и расскажите ещё. Как Сталин? Вы о нём достаточно заботитесь?

Среди бесчисленных делегаций и фронтов и тыла, среди тёплого запаха крестьянских зипунов, шинелей, леса, земли, среди рослых и крепких, сохранивших эту крепость как бы назло голоду и холоду, которые так уверенно шли по стране, среди красивых и некрасивых, среди смелых и робких, говорливых, безмолвных или восхищённо вздыхающих, этот худощавый рабочий в тёмной гимнастёрке, сильно потрёпанной на обшлагах, этот высокий человек, с уверенно поднятой головой,

нёс в себе что-то такое пленительное и бодрое, что сразу останавливало и заставляло смотреть на него. Он был очень родственен многим, но в то же время и отличен от них, и слушать его было и приятно и неутомительно.

Несколько раз в кабинет входил секретарь. Он клал бумаги на стол и хотя не смотрел на беседовавших, но все его движения говорили, что Пархоменко задерживает крепко налаженное и точно идущее дело. Да и сам Пархоменко давно понимал, что ему пора уйти. Но он не находил сил уйти. И Ленин уже чувствовал, что беседа затягивается, что откладывается очередное заседание, а он не любил опозданий и всегда бранил других за опоздания. И поэтому он старался не глядеть на секретаря и даже повернулся к двери спиной, торопливо расспрашивая Пархоменко о фронте, о донецких и царицынских рабочих, о работе заводов.

Наконец Пархоменко пересилил себя и встал.

— Вы где остановились?

— В «Метрополе», у знакомых.

— А еда у вас есть?

Тогда Пархоменко, напоследки, чрезвычайно быстро, глотая паузы и оглядываясь на дверь, из которой каждую минуту мог появиться опять секретарь, заговорил:

— С пищей так — впереди маршрутный поезд сошёл с рельс — эти сволочи подложили пироксилиновые шашки — отстреливались семь часов — у меня команда сорок человек — мандат Сталина — думаем — дудки — пошли и прогнали — проехали три станции — опять бой — думаем — мандат Сталина — отстреливались девять часов — дальше вокзал станции Филоново, путь разобран на пять километров — думаем — чорт вас дери, — издеваются — рассердились — мандат Сталина — перешли в наступление — догрузились казачьим обозом и поехали — отсюда и наш паёк.

Ленин рассмеялся:

— А хороший обоз?

— Пища и штаны.

Ленин выбежал из-за стола и, заложив пальцы за борта жилета, прошёл мимо Пархоменко, любуясь его загорелым лицом. Он остановился возле окна, сжал руки в кулаки и ударил ими по воздуху.

— Великолепно дерутся за Царицын! Великолепно! Чудесно!

Он широко развёл руки.

— По-волжски дерутся. А вы, товарищ Пархоменко, будете докладывать мне каждый вечер о том, что сделали для Царицына.

В дверях Пархоменко вспомнил о просьбе Ламычева и сказал:

— Командир казачьего отряда Ламычев, хороший боец, хочет назвать свой отряд вашим именем и просил на то вашего разрешения.

— Если им другим нечем заняться, то я не возражаю, — сказал, смеясь, Ленин.

Когда Пархоменко вернулся в «Метрополь», ему передали телеграмму. Телеграмма была из Царицына: «Москва, начоперода, для царицынского уполномоченного Пархоменко. Положение на фронте улучшилось. Везите не медля всё, что получили. Сталин». Пархоменко провёл ребят к луганчанке, чтобы оставить их там и идти в Бюро. Луганчанка ему сказала, что его уже три раза вызывал по телефону Кремль. Он спросил обеспокоенно:

— Кто звал-то? Кремль велик.

— Не сказали.

Вошёл комендант.

— Из Кремля телефон, Пархоменко. Ждут.

Пархоменко подбежал и схватил трубку.

— Кто это? — крикнул он, глубоко дыша.

— Это Ленин, — услышался в телефоне слегка приглушённый расстоянием голос. — Не можете ли вы, товарищ Пархоменко, уделить мне сейчас пятнадцать минут и приехать в Кремль? Можете? Пожалуйста, я жду вас.

Ленин был один. Когда Пархоменко вошёл, он перелистывал какую-то толстую книгу. Увидав Пархоменко, он быстро закрыл книгу, поднял голову и спросил, хлопывая ладонью по книге:

— Опять они там со снарядами вас задерживают?

— Снаряды сегодня, Владимир Ильич, удалось отправить вне очереди.

— А в Царицыне как?

Пархоменко хотел было сказать о телеграмме Сталина, но Ленин прервал его, вставая:

— Видите ли, у нас любят, чуть что — и сложить руки!

Он опять хлопнул рукой по книге.

— А руки складывать никак нельзя. Скуют! Кандалы наложат! — Он рассмеялся. — Я к ним звоню сегодня: в каком положении отправка снарядов? А они мне читают телеграмму Сталина к Пархоменко, что, мол, положение улучшено. По всей видимости, какой-то неопытный ваш помощник показал им эту телеграмму в ваше отсутствие, и они уже рады: раз положение улучшилось, то зачем снабжать. По-моему, наоборот! Врага мы должны не только отражать, но, главным образом, гнать совершенно с лица земли. Как по-вашему? Я решил с вами посоветоваться.

Пархоменко стоял, держа руки по швам, багровый и страдающий от стыда: «Только отвернулся, — и всё уже пропало, покатилося вниз!.. А самое главное: то, что должен был сделать он, Пархоменко, делает за него Ленин!»

— Не хорошо, — сказал он.

— Что не хорошо?

— Да не хорошо я поступил. Отправил поезд и думаю — всё уже налажено и всё готово.

Ленин засмеялся:

— Гм! Но, знаете, всё же ведь есть советская власть, не правда ли? Если советская власть по-настоящему будет настаивать, чтобы вы получили снаряжение, кое-чего добиться всё-таки можно, а?

Зажглась красная лампочка. Ленин взял трубку телефона. Он послушал говорившего и сказал:

— Совершенно верно, товарищ, положение в Царицыне улучшилось, но врага приходится добивать. Таков закон истории. Я настаиваю, чтобы выдали всё снаряжение, которое требует Пархоменко. Всё! Вот он стоит здесь и кричит, и возмущается. — Ленин закрыл трубку ладонью и, улыбаясь, тихо сказал: — Это, чтобы они не ссылались на то, что вы с ними тихо разговариваете.

Он кивнул головой, снял руку с телефона и продолжал:

— Да, да, я слышу ваши соображения. Что? Возражает? А вы пошлите его к чорту, но только вежливо.

Он положил трубку, потёр руки и прошёлся по кабинету. Видимо, он был доволен ходом дела. Он поглядывал на Пархоменко ясными, улыбочатыми глазами, и чувствовалось, что ему не хотелось расставаться с этим простым рабочим парнем в гимнастёрке с об-

тёртыми рукавами, с очень ловко заштопанной прорехой на локте. Огорчение у Пархоменко было такое простое, приятное. А как, наверное, человек этот ловок и быстр на природе, среди поля или в лесу! Наверное, он любит и знает рыбную ловлю, охоту, и как бесшумно шагает он, вероятно, среди самого сухого валежника. Приятна была и скороговорка его, напоминающая скороговорку сибирских мужиков. И Ленин спросил:

— А вы сегодня брились?

— Брился, — изумлённо ответил Пархоменко.

— А я ещё нет. Надо пойти очередь занять. Пойдёмте, кстати прогуляемся.

Ленин шёл быстро, раскланиваясь направо и налево, бросая тому или иному встречному несколько фраз о том, что сделано в той области, где тот работает, и что надо сделать; предупреждая других, что надо быть на заседании аккуратно в половине седьмого; спрашивая третьих о здоровье и напоминая о необходимости лечения. Пархоменко шёл, приглядываясь к каждому движению Ленина, и каждое движение было для него поразительным и в то же время простым.

Ленин поражал Пархоменко тем, что, будучи Лениным, то есть человеком, с которым Пархоменко разговаривал, шёл рядом, шутил, зашёл в парикмахерскую и видел, как этот человек с порога заглянул в комнату, большая ли там очередь, и записался, — он в то же время был тем величественным и вдохновенным, что доплеснётся до отдалённейших наших потомков, что постоянно будет стоять перед нашими внуками, правнуками, миллионами, миллиардами людей! Если бы Пархоменко мог это выразить, он бы назвал это ощущение — подлинным и неистребимым ощущением бессмертия. Но он не искал слов. Аристократы, купцы или просто обыватели подбирали для определения значения Ленина множество слов, которыми пытались передать его силу или внушаемый врагам ужас. Но никто, кроме трудящихся, именно этих простых сердец, не мог так видеть и чувствовать в нём подлинно то, что было одновременно и настоящим и далёким прошлым, нашедшим свой смысл и определение, и раскрывшимся будущим.

— В нашем распоряжении не меньше получаса, — сказал Ленин, когда они вышли, записавшись, из парикмахерской. Он положил часы в жилетный карман и добавил: — Это хорошо. Можно погулять.

Они шли по кособору, иногда останавливаясь. Ленин смотрел на Замоскворечье, на дымку, чуть розовеющую, потому что уже приближался закат. Среди домов, как поплавки, видны были купола церквей. Кое-где начали звонить колокола.

— Там, кажется, есть озёра: пониже Царицына? Передавали, что там отличная охота? — спросил Ленин.

Пархоменко даже не сразу понял, о какой охоте идёт речь, и он сказал невпопад:

— Озёра всё солёные.

— А разве возле солончаков нет дичи?

Пархоменко, который считал охоту малостоящим занятием, пренебрежительно ответил:

— Так, мальчишки ходят.

Ленин рассмеялся. «Пробовал охотиться, но, вероятно, неудачно», — подумал он о Пархоменко. И так как и эта дымка, и эти крыши, расстилавшиеся перед ними и отливавшие бронзой, смутно напоминали ему какое-то стихотворение, которое сейчас сразу нельзя было и вспомнить, он спросил:

— А кого вы любите из писателей?

— Мамина-Сибиряка, — сказал Пархоменко.

Ленин оглядел его ещё раз и сказал:

— Хороший писатель. — Он посмотрел опять на дымку, застилавшую Замоскворечье, и медленно сказал ему: — Но Толстой лучше. Рекомендую перечесть.

Н. ПОГОДИН  
КРЕМЛЁВСКИЕ КУРАНТЫ

КАРИНА ЧЕТВЁРТАЯ

В избе Чудновых. Чистая половина избы в три окна. В проходе из сенец — русская печь. Лавки, стол, покрытый белой скатертью, божница и на стене меж лубочными картинками и семейными фотографиями портрет Ленина, дешёвая литография. Старуха Чуднова Анна и её сноха Лиза прибирают избу. Дети Лизы — Маруся и Стёпка — восторженно перешёптываются.

Анна (*Лизе*). Вынеси сапоги. К чему у вас сапоги на лавке стоят и дёгтем воняют? Вот-вот охотники придут, а у вас ералаш. (*Детям.*) Я вам пошепчусь! Марш по местам на печь!

Лиза уносит сапоги. Является Казанок.

Казанок. С праздником тебя, Анна Власьевна!

Анна. И тебя также.

Казанок. Пришёл упредить: сей минут Владимир Ильич будут.

Анна. Ах ты, батюшки! Казанок! Вот память! Беги на колокольню!

Казанок. Вот тебе раз! Зачем?

Анна. Кругом идёт голова. Не знаю.

Является Лиза.

Лиза, скажи, зачем Казанку быть на колокольне?

Лиза. Роман велел на случай митинга в большой колокол ударить.

Казанок. Ударим! (*Уходит.*)

Лиза. Постой... Ох, наделает он трезвону!

Анна. Постой! Казанок!

Казанок (*возвращаясь*). Чего вам?

Анна. На колокольне надо быть тихо, благородно.

Ты оттуда всё время выглядывай на проулок. Мы к тебе Стёпку пришлём. Стёпка тебе с проулка жердью махнёт. Тогда ты бей в большой колокол. Опять же, Казанок, ты не часто бей, а редко, как к заутрене вроде.

К а з а н о к. Не вам учить меня. Знает Казанок, как ему для товарища Ленина в колокол ударить. *(Ушёл.)*

А н н а *(детям)*. Марш на печку!

Л и з а. Зачем вы детей прячете?

А н н а. Сама подумай, такому гостю — и наших анчуток выставлять! На ключи, вынай из сундука скатерть, бери мою, с бахромой.

Л и з а. Не пугайтесь вы, ради Христа, чего вы испугались?

А н н а. Неси скатерть, ведь стол голый.

Лиза ушла.

*(Детям.)* А вы на печь!

Стёпка. Бабушка, мы знаем...

А н н а. И не выглядывать, не пересмеиваться, зря не кряхтеть.

Стёпка. Бабушка, а посмотреть на него можно, когда он нас видеть не будет?

Входит Лиза.

А н н а. Я тебе посмотрю ремнём по заднице!

Л и з а. Господи, чистую смену хотела на них надеть, глянула — а рубахи не глажены.

А н н а. Лизавета, что же ты прохлаждаешься?

Лиза уходит.

Не завесить ли нам иконы? А то пускай... к чему это притворство?

Вбегают Лиза.

Л и з а. Идут!

А н н а. Кто да кто?

Л и з а. Ленин и батюшка.

А н н а. Одни?

Л и з а. Одни.

А н н а. Значит, наши деревенские его не признали. Ну, господи благослови! Ты у дверей стань. Смотри, что подать, принять. На платок, покройся, нехорошо!

Входят Ленин и Чуднов. Ленин одет в доху и в шапке с «ушами».

Чуднов. Это моя старуха, Анна Власьевна.

Ленин. Здравствуйте.

Чуднов. А то сноха — Лиза.

Ленин. Доброе утро!

Анна. С чем пришли с вашей охоты?

Ленин. Ни с чем, представьте себе. Мы такие знаменитые охотники, что на фунт дичи нам надо фунт пороху.

Чуднов. Зачем напраслину на себя возводите? Туману наволокло, чистая беда. Никогда я такого дуравьего туману и не видал. Как одеялом озеро покрыл.

Ленин (*раздеваясь около дверей*). Чья это пятка?

Анна. Ну, вот... сконфузили!

Ленин. Кто там? А ну-ка, товарищи, пожалуйста сюда! Позвольте, вас тут двое? Пожалуйста, сюда двое!

Стёпка. Бабушка, слезать?..

Анна. Слезайте... (*Ленину*.) Они у нас чумазые, как анчутки.

Ленин (*Стёпке*). Тебя как зовут?

Стёпка. Стёпка.

Ленин. Стёпка... А почему не Степан?

Стёпка. И Степан, и Стёпка.

Ленин (*Марусе*). А тебя?

Стёпка. А её — Маруся.

Ленин. Почему ты за неё отвечаешь?

Стёпка. Она у нас боязливая.

Ленин (*Марусе*). Ты меня боишься?

Маруся (*весело*). Не.

Ленин. Не боишься, а на печку залезла?

Стёпка. Нас от Ленина спрятали.

Ленин. А вот и пришёл Ленин.

Стёпка. Где?

Ленин. Вот.

Стёпка. Ну да... ты не Ленин!

Ленин. Неужели? А кто же я?

Маруся. Вы просто чужой мужик. В гости пришёл.

Стёпка. Ленин как раз не такой.

Ленин. А какой?

Стёпка. Посмотри на его портрет, тогда увидишь.

Ленин подошёл к своему портрету.

Ленин. Этот важный, надутый господин ни капли на Ленина не похож.

Стёпка. Может, ты похож?

Ленин. А вот я похож.

Анна хочет вмешаться.

Нет, вы не мешайте нам довести спор до конца.  
(*Стёпке.*) Я утверждаю, что я похож.

Стёпка. Ты ни капли не похож, а там настоящий, раз его машиной напечатали.

Ленин. Нет, я самый настоящий, а он нет!

Стёпка. Нет, он!

Ленин. Нет, я!

Стёпка. Давай спорить!

Ленин. Давай.

Стёпка. На что?

Ленин. Не знаю.

Стёпка. На кусок сахара.

Ленин. Хорошо. (*Снял шапку.*) Ну, теперь скажи, кто настоящий!

Стёпка смотрит на Ленина, потом на портрет его и отступает к взрослым.

(*Надел шапку.*) А теперь?

Маруся. А теперь опять не настоящий,

Ленин. А снова? (*Снял шапку.*)

Стёпка. Настоящий Ленин!

Маруся. Стёпка, где ж ты сахару возьмёшь?

Стёпка (*вдруг с большой решительностью*).

Бабка, бежать на колокольню?

Ленин. Зачем на колокольню?

Анна. Так он, буровит... Лиза, самовар!

Чуднов. Садитесь, Владимир Ильич.

Ленин. Благодарю.

Анна. Мы сейчас самовар подадим.

Ленин. Благодарю... Шустрый мальчик.

Чуднов. Баловной, — беда.

Ленин. Я в его пору тоже был шустрым и баловным. Мальчишки загадочный народ, только мы с ними не умеем обходиться. Уменья мало. Нам многое надо уметь. Нам не уметь нельзя — съедят. (*Подошёл к лавке у печи.*) Что это?.. светец? Настоящий старинный светец.

Чуднов. Неужто знаете, что в деревнях жгут лучину?

Ленин. Пользуетесь этой штукой?

Чуднов. Когда керосину не выдают, — зажигаем.  
Анна. Трещит... с ней и то веселей, чем в потёмках.

Ленин. Да, конечно, веселее.

Входит Роман. В руках мешок, до половины наполненный какими-то лёгкими вещами. Роман не ожидал в эту минуту найти дома Ленина.

Чуднов. А это мой сын Роман. Председатель и ещё... вообще.

Ленин. Здравствуйте, председатель. Что это у вас в мешке?

Роман. Ревкизит.

Ленин. Интересно, что за реквизит? Можно посмотреть?

Роман. Можно. *(Смущаясь, вынул большой атласный цилиндр.)*

Ленин. Цилиндр... *(Взял, повертел, щёлкнул пальцами по цилиндру.)* Атлас. Чудесная штука. Значит, у вас есть свой театр?

Роман. Пролеткульт.

Ленин. А что это такое — Пролеткульт?

Роман. Я сам хорошо не знаю. Это, как бы сказать, пролетарская культура.

Ленин. Откуда вы добыли цилиндр?

Роман. В Москве на Сухаревой купил.

Ленин. Кто же будет играть в нём?

Роман. Я.

Ленин. Кого же вы представляете?

Роман. Банкира.

Ленин. Банкира? А трудно представлять банкира?

Роман. Нет.

Ленин. Я бы ни за что не взялся.

Чуднов. Чистая беда, Владимир Ильич!

Ленин. Отчего беда?

Чуднов. Пришёл из армии человек человеком, и вдруг — банкир! Дети растут, а отец — артист.

Ленин. И чудесно, что артист. Я, например, банкира не умею представлять, а он может. Мы с вами, товарищ Чуднов, старомодные люди.

Чуднов. Да, Владимир Ильич, старомодные.

Вбегает звонарь Казанок.

Казанок *(от порога)*. Во имя отца, и сына, и святого духа...

Ленин. Что, что?!

Казанок. Ох, что же я понёс? Это я, Пантелей Казанок, звонарь здешний и общественный пожарник. Помните, зимой в метель с вами в лес на лыжах ходил?

Ленин. Ещё бы... конечно, помню!

Казанок. Пришёл показаться. Живой я... *(Окружающим.)* Извините. Бегу на место! Я на своём месте буду, не сумлевайтесь. *(Ленину.)* Мы рады, весь народ! Я звоню не по уставу, а от всей души... Звоню... Вот и весь Казанок: что на нём, то и в нём, весь наружу! Прощайте! *(Убежал.)*

Ленин. Почему же он убежал?

Анна. Простой он, бесхитростный.

Роман *(вышел на середину комнаты, выпрямился)*. Позвольте, Владимир Ильич... Позвольте, товарищ Ленин, просить вас в Пролеткульт откусать чаю. А также позвольте попросить вас выступить у нас на митинге.

Анна. Нет уж, Владимир Ильич, чай пить в Пролеткульт не ходите. У них там и самовара порядочного нет.

Ленин. А что? Может быть, не стоит идти в Пролеткульт? Мы и здесь чаю напьёмся, а? Позвольте мне остаться здесь. И хорошо бы без митинга обойтись.

Вбежал Рыбаков.

Рыбаков. Подстрелил! Четырёх птиц подстрелил. *(Показывает уток.)* Я подождал ветерка с поля — и не обманулся... Под ветром все воды открылись. *(Чуднову.)* Вот тебе и туман!

Ленин *(сокрушённо)*. Тихон Иванович...

Рыбаков. Сознаю, Владимир Ильич...

Ленин. Утки... настоящие дикие утки. Мы с вами философствовали о причинах туманов, непогод и прочих стихий, а он — подстрелил...

Анна. Что же ты, егерь, осрамился?

Чуднов. Молчи, мать! *(Ленину.)* А вы, Владимир Ильич, как я понимать могу, нынче охотой совсем и не занимались.

Ленин *(удивлённо)*. Неужели?

Чуднов. Мне так оно показалось.

Ленин. Неужели показалось? А может быть, и правда. Я сегодня был очень плохим охотником, това-

рищ Рыбаков, но зато... *(И не договорил.)* Зато вы молодец... А ведь не охотник, моряк...

Рыбаков. Так что же, выходит, я всех расстроил?

Ленин. Конечно, расстроил, какой же охотник не расстроится? Ветерка подождал с поля и обштопал старых охотников. Цените, Тихон Иванович, прекрасные утки! Вы их спрячьте, чтоб кошки не утащили.

В эту минуту на улице раздаётся набат.

Ленин. Набат!.. Набат!..

Анна. Это ведь Казанок не стерпел.

Чуднов. Ах, леший! Вот леший-то!

Роман *(у окна)*. Ну, теперь сделать ничего нельзя. Вся деревня поднялась.

Ленин. Если так, то и мы пойдём... Ах, звонарь, раззвонил обо мне звонарь... На то он, конечно, и звонарь! Товарищ Чуднов...

Чуднов. Ась?

Ленин *(одеваясь)*. А ведь беспокойно жить с большевиками?

Чуднов. Беспокойно, Владимир Ильич!

Ленин. Кто их знает, что они завтра выдумают.

Чуднов. Верно говорите, Владимир Ильич!

Ленин *(точно про себя)*. Надо думать, товарищ Чуднов... думать, передумывать. Пойдёмте, товарищи, на улицу, а то ведь... он так от восторга всю колокольню разнесёт!

Ленин, Чуднов и Рыбаков ушли.

Анна. Смотрю и не надивлюсь. Ведь это же царь...

Лиза. Что?

Анна. Царь!

Лиза. Ну, что вы сказали, мамаша! Ленин — председатель советской власти.

Анна. По-вашему — председатель, по-нашему царь!

Лиза. Разве вас переиначишь?.. Я туда побегу!

Анна. Беги, милая, беги!

Лиза ушла.

*(Оборачиваясь к иконам.)* Господи, пошли ему здоровья, счастья, радости и всякого исполнения желания. Прости мя, господи, что уповаю к тебе за неверующего.

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Отрывок

Входит Забелин.

Ленин. Инженер Забелин?

Забелин. Да.

Ленин. Антон Иванович?

Забелин. Да.

Ленин. Здравствуйте. Прошу вас, садитесь. (Сел.)

Молчание.

Так что же, саботировать или работать?

Забелин. Я не предполагал, что мои личные проблемы могут вас интересовать.

Ленин. Представьте себе — интересуют. Вот мы и хотели посоветоваться с вами по одному чрезвычайно большому вопросу.

Забелин. Я не знаю... Разве мои советы могут иметь значение?

Ленин. Кого вы хотите взять под сомнение — нас или себя?

Забелин. С некоторых пор у меня не спрашивают советов.

Ленин. Значит, людей занимали другие интересы... Как вы полагаете?

Забелин. Да, это так. У них были другие интересы.

Ленин. А сейчас понадобились ваши советы. Что же вас огорчает?

Забелин. Я несколько... так сказать... озадачен...

Держинский. Вам мешает узелок. Положите его.

Ленин. Вы, наверно, собирались пойти в баню? Сегодня суббота, время бани...

Забелин. Да, конечно... собирался идти в баню.

Ленин. Мы вас долго не задержим. Садитесь. (Сталину.) Расскажите о вашей беседе с учёным.

Сталин (Ленину). Я полагаю, что гражданин Забелин не в курсе дела. Позвольте ввести его в самую суть вопроса.

Ленин. О да, конечно.

Сталин (Забелину). Нас, большевиков, всегда интересовали коренные проблемы переустройства здания России. Есть интерес — любительский, или маниловский, приятный, но бесплодный. Мы противники таких

интересов. Сейчас советское правительство интересуется вопросом, как нам самим, без варягов, своими руками, сегодня приступить к электрификации России. И я по поручению товарища Ленина беседовал с одним учёным человеком о строительстве электростанций на белом угле. Этот учёный человек — он до революции был акционером одной электрической компании — не очень охотно поддерживал наше собеседование. Однако, несмотря на свою неохоту поддерживать беседу, он довольно энергично утверждал, что у России для электричества нет будущего. Страна наша, как вы знаете, плоская, и реки в ней текут тихо, а для добычи электричества надо иметь что-нибудь вроде Ниагарских водопадов.

Забелин. Так мог сказать невежда.

Сталин. Простите, он авторитетный учёный.

Забелин. Или мошенник.

Сталин. Это другое дело.

Ленин. А почему мошенник? Вы докажете!

Забелин. Можно вас попросить к карте?

Ленин. Пойдёмте, пойдёмте!

Все идут к карте.

Забелин. Я берусь указать вам десяток мест, где мы можем сейчас строить электростанции. Вот и вот... А разве здесь нельзя?

Ленин. Что это?

Забелин. Днепровские пороги.

Ленин. А где же здесь можно строить?

Забелин. Я считаю, что где-то в низовьях, но не у моря.

Ленин. А хорошо бы здесь, у самого моря, на берегу, воздвигнуть огромный электрический замок... Знай наших!

Забелин. Возьмите эти торфяные районы... Ангара на востоке, Эльбрус на Кавказе...

Ленин. Вы можете составить мне на эту тему общую записку?

Забелин. Я затрудняюсь. Я давно не занимался подобными вопросами.

Ленин. Чем же вы занимаетесь?

Забелин. Ничем.

Дзержинский. Вы говорите неправду. Инженер Забелин торгует спичками.

Ленин. Как спичками?

Дзержинский. Инженер стоит на улице и торгует с рук.

Ленин. Оптом торгуете или в розницу, по коробочке? Слушайте, это несчастье! Это стыд и срам, бабенька мой! В наше время спичками торговать... За такие штуки надо расстреливать, как хотите!

Забелин. Давно приготовился.

Ленин. К чему приготовились? Приятию мученического конца? Кто вас заставляет торговать спичками?!

Забелин. Мне некуда приложить руки.

Ленин. Как это — некуда приложить руки? Что вы мне говорите!

Забелин. Меня никто не звал.

Ленин. А почему мы должны вас звать? Разве до нас вы сидели и ждали, пока вас позовут? Впрочем, если вас не вдохновляет идея электрификации России, то можете торговать спичками!

Забелин. Не знаю... способен ли я...

Ленин сердито отошёл и не ответил.

Сталин. А этого мы, конечно, не знаем.

Забелин. Большевик из меня не получится.

Сталин. Это возможная вещь.

Забелин. В России предположено построить социализм. А я в социализм не верю.

Ленин (*вдруг быстро, весело*). А я верю! Кто из нас прав? Вы думаете, что — вы, а я — что я! Кто же нас рассудит? Ну, вот давайте спросим у Дзержинского. Он скорее всего скажет, что я прав, а вы — нет. Этого вам достаточно?

Забелин. Я понимаю. Мои слова для вас детский лепет.

Сталин. Но ведь социализм — не ваша специальность?

Забелин. Да, конечно, я плохо разбираюсь.

Сталин. Зачем же вы берётесь судить не по специальности? Вы товарища Кржижановского знаете?

Забелин. Нет, не знаю.

Ленин. А он мне сказал, что у вас громадный опыт электрика, что вы строили... а вы спички продаёте! Какая дикая вещь!

Забелин. Брошу. Не буду.

Дзержинский *(про себя)*. Слава богу.

Ленин *(Дзержинскому)*. Что вы сказали?

Дзержинский. Я сказал — слава богу.

Забелин. Судя по всему, мне предлагается брать-ся за дело.

Сталин. Что касается меня лично, то я бы вам это посоветовал.

Забелин. Но вы меня плохо знаете.

Ленин. Немного знаем.

Забелин. Меня никто рекомендовать из партии коммунистов не может.

Ленин. Представьте себе, может.

Забелин. Не знаю, кто.

Дзержинский. Я.

Забелин. Откуда же вы меня знаете?

Дзержинский. По долгу службы.

Забелин. Ах, да... я это забыл.

Дзержинский. И раз уж я вас правительству рекомендую, то позвольте мне предложить вам совет. Сейчас вы сбиты с толку, не правда ли?

Забелин. Совершенно сбит.

Дзержинский. Взволнованы немного. Вам надо успокоиться. Пойдите домой, обдумайте, что случилось, а потом дайте ответ.

Ленин. Завтра дадите ответ?

Забелин. Да.

Ленин. До свиданья.

Забелин кланяется, идет к двери.

Дзержинский. Узелок забыли.

Забелин. Вот, чорт — не узелок!

Ленин. Баня! Баня!.. Вы ещё успеете!

Забелин. Нет, я в баню не шёл. Все решили, что меня берут в Чека... и вот жена вручила узелок.

Ленин. Ах, вон как! Это другое дело. Пойдите! *(Зовёт секретаря.)* Время у нас суровое. Теперь у вас дома — горе, слёзы.

Входит секретарь.

Отправьте инженера домой в автомобиле... Немедленно отправьте!

Забелин и секретарь ушли.

Ленин. Ну, как? Пойдёт работать?

Дзержинский. Пойдѣт, конечно.

Сталин. Задних мыслей у него немного. Что было — сразу выложил.

Ленин. Скорее бы поднять таких медведей... сотни их попряталось.

Сталин. Поднимем, Владимир Ильич!

Ленин. Так что же, дорогие товарищи, надо начинать заседание Совета труда и обороны.

М. ИСАКОВСКИЙ  
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

*Деревенская быль*

У нас в районе и сейчас  
Живёт и будет жить вовеки —  
Простой, бесхитростный рассказ  
О справедливом человеке.

Его припомнит вам любой,  
Расскажет тихими словами.  
И Ленин — близкий и родной —  
Как будто сядет рядом с вами.

1

В тот боевой и славный год,  
За тыщи долгих лет впервые  
И власть, и землю брал народ,  
И счастье в руки трудовые.

А здесь, в глухом селе Ключи,  
Лишь с кривдой были мы знакомы,  
А здесь творили богачи  
Свои особые законы.

У них во всём — своя рука,  
Они везде найдут основу.  
И сельсовет у мужика  
Забрал последнюю корову.

Остался двор совсем пустой, —  
Один петух стоит на страже...

Хозяин ходит — сам не свой, —  
Куда пойдёшь, кому расскажешь?

Его и слушать не хотят, —  
Мол, хватит нам с тобой возиться...  
Да тут в село один солдат  
Пришёл с передовых позиций.

«Я, — говорит он, — научу,  
Где правду отыскать людскую.  
Ты, — говорит он, — Ильичу  
Пиши записку докладную.

Пиши подробно: так и так, —  
Мол, всё пошло бы в лучшем виде,  
Да власть у нас забрал кулак,  
И мужики — в большой обиде.

Товарищ Ленин разберёт  
И в долгий ящик не положит, —  
Горой стоит он за народ  
И мужику всегда поможет.

Он человек такой души,  
Какой не сыщешь в целом свете.  
Ты только сядь да напиши,  
А он уж знает, что ответить.

А если сам ты не горазд,  
Пера не брал, быть может, в руки,  
Так я тебе составлю враз,  
Как полагается в науке.

Недаром я на свете жил,  
Понятна мне твоя кручина...»  
Солдат писал, мужик светил  
Сухой берёзовой лучиной.

Он так и так возился с ней  
И повторял всё ту же фразу:  
«Ты не мельчи... Пиши крупней,  
Чтоб Ленин всё увидел сразу».

Заглянет вечером сосед  
 Поговорить про то, про это,  
 И спросит вдруг: «Ну, как ответ?  
 Да и не зря ль ты ждёшь ответа?»

Не выйдет, видно, ничего, —  
 Поторопился ты некстати:  
 Без нас с тобою у него  
 Про каждый день заботы хватит...»

А богачи, срывая злость,  
 Заводят речь при всём народе:  
 «Смотри, запеть бы не пришлось,  
 Как солнце всходит и заходит.

Товарищ Ленин — главный вождь,  
 За всю державу отвечает.  
 А ты — с коровой пристаёшь,  
 А что корова означает?..»

И сердце падает опять,  
 Опять сомненье душу гложет:  
 Быть может, лучше б не писать,  
 Себя напрасно не тревожить?

Но на своём стоит солдат,  
 Не уступает, не сдаётся:  
 «Готов я биться об заклад,  
 Что молоко твоё вернётся.

Товарищ Ленин — он такой,  
 Что силы слабому прибавит.  
 А кто упал, — своей рукой  
 Поднимет, на ноги поставит».

Но дни идут, проходят зря,  
 Летят вперёд неудержимо.  
 Взойдёт заря, зайдёт заря,  
 А почта проезжает мимо.

Это явь или только во сне? —  
 Всё село говорит об этом:  
 Нарочный, в ночь, на коне  
 Прискакал из уезда с пакетом.

Ленин прислал приказ  
 Строгий, короткий, точный:  
 «Корову вернуть тотчас  
 И донести мне срочно».

Всех виноватых — под суд,  
 Раз не по-честному жили.  
 Пусть, говорит, понесут  
 Всё, что они заслужили.

Ходят весь день мужики,  
 Словно на праздник, по хатам.  
 Стали и ноги легки,  
 Стали и думы крылаты.

Те, что молчали весь век,  
 Сделались вдруг говорливы:  
 «Вот он, родной человек,  
 Вот он какой справедливый!»

Так говорят у нас в селе  
 Про Ильича, про жизнь былую...

В какой стране, на чьей земле  
 Вы правду сыщете такую?

К. ФЕДИН  
РИСУНОК С ЛЕНИНА

1

Летним полднем молодому художнику Сергею Шумилину позвонили по телефону из газеты и сказали, чтобы он зашёл в редакцию договориться об одном деле. Художник бросил рисовать, помыл руки, сунул в карман гимнастёрки карандаш с блокнотом и вышел на улицу.

В магазинных окнах были выставлены портреты Ленина в красных рамках из кумача, и повсюду бросались в глаза надписи: «Да здравствует Третий Коммунистический Интернационал!» Сергей, заглядывая в окна, думал, что, вероятно, фотографии очень правильно передают черты Ленина, без отклонений, но художник мог бы тоньше уловить особенности лица, живость движений, и хорошо было бы порисовать когда-нибудь Ленина с натуры.

В редакции Сергею сказали:

— Вот какое хотим мы дать вам поручение. На конгресс Коминтерна съезжаются иностранные делегаты. Отправляйтесь во Дворец труда, там они сегодня соберутся. Зарисуйте кого-нибудь из делегатов! Согласны?

— Хорошо.

— А завтра мы дадим вам пропуск на открытие конгресса, можете рисовать любого делегата и, если увидите Ленина...

— Ленина? — быстро перебил Сергей и улыбнулся своей мгновенной мысли, что вот судьба так странно исполняет его желание.

— Да, если представится возможность, нарисуйте нам Ленина!

— Хорошо, — опять сказал Сергей.

Весёлый, он поехал на трамвае во Дворец труда и как только через открытые окна вагона замечал где-нибудь портрет Ленина, снова удивлялся необыкновенному совпадению и уже ясно представлял себе, каким лёгким, непринуждённым, светлым, живым будет его рисунок с Ленина. Он решил, какой альбом возьмёт с собой, какие нужны карандаши и как он потом, по рисунку, напишет большой портрет.

## 2

Во дворце, куда явился художник, было шумно. На лестницах, в коридорах попадались иностранцы, окружённые русскими, которые рассказывали им о жизни Советской республики.

Шла война с Польшей, поляки были разбиты, и Красная Армия преследовала бежавшие польские войска. Белогвардейцам барона Врангеля в Крыму тоже приходил конец. Но до мира было далеко, вражеская блокада изнуряла молодую советскую землю, и трудно было проникнуть из-за границы в Петроград. Иностранные гости ехали на конгресс морем, вокруг Скандинавии, им приходилось переживать по дороге рискованные приключения. Но желание увидеть Страну Советов заставляло одолевать самые трудные препятствия, и люди съехались со всех концов света.

Сергея познакомили с одним немцем. Это был маленький горбун, с важным лицом и с медленной походкой. Родом он происходил из Брауншвейга, по профессии был портным. Во время германской революции он три дня возглавлял «независимую» республику в Брауншвейге, которую предательски разгромили немецкие социал-демократы.

Хотя он сразу согласился позировать художнику, он занялся подробными расспросами о советской власти и всё не мог понять, зачем ей понадобилось упразднить всякую торговлю и ввести распределение товаров.

Они стояли на балконе, глядя на суровую площадь перед дворцом, еще хранившую следы героической обороны Петрограда от генерала Юденича: на мостовой виднелись второпях засыпанные окопы, на бульваре торчали остатки бруствера — брёвна, мешки с песком. Сергей сказал:

— Целое сонмище врагов ополчилось на нас. Мы думаем об одном — победить их.

— Понимаю, понимаю, — с превосходством говорил брауншвейгец и плавно двигал головой, лежавшей глубоко в плечах. — Но какой смысл в том, что у вас закрыты мелочные лавки?

— Лавочники заодно с нашими врагами.

— Понимаю, понимаю. Но если у меня оторвётся пуговица; где я её куплю?

Таким рассуждениям, казалось, не будет конца, и Сергей, вдруг заскучав, почувствовал, что совершенно ничего не получится, если он начнёт рисовать брауншвейгца.

— Знаете, я попробую сделать ваш портрет завтра, на конгрессе, — сказал он.

Немец снисходительно разрешил, и художник быстро простился.

### 3

На другое утро, с билетом в кармане, Сергей торопился на открытие конгресса. Но, когда он пришёл, зал Дворца Урицкого был уже полон, на хорах колыхалась живая полоса голов, всё глухо гудело от разговоров, везде вспыхивали белыми крыльями расправляемые газеты. Стояла духота, чаще и чаще в амфитеатре снимались пиджаки, люди обмахивались газетами, платками, рябило в глазах от трепета неисчислимых пятен, всё было напряжено ожиданием.

Сергей нашёл место в ложе для журналистов, против трибуны. Отсюда хорошо были видны скамьи президиума. Он раскрыл альбом и принялся готовиться к рисованию.

Внезапно хоры зашумели, и, всё поглощая грохотом, вниз начал сползать глетчер рукоплесканий. Сергей поднялся вслед за всем залом и стал глядеть в места президиума. Но там никто не появлялся. Он посмотрел в зал, и вдруг у него выпал из рук альбом: он начал аплодировать.

Прямо на него, через весь зал, впереди разноплеменной толпы делегатов, шёл Ленин. Он спешил, наклонив голову, словно рассекая его встречный поток воздуха, и так, будто стараясь скорее скрыться из виду, чтобы

приостановить аплодированье. Он поднялся на места президиума, и пока длилась овация, его не было видно.

В момент, когда он появился, раскрылись все двери зала, и на хоры и в амфитеатр внесли огромные корзины красных гвоздик. Цветы разлетались по рукам, вовлекая длинные ряды скамей в красочную перекличку с алыми полотнищами знамен и декораций.

Оглядывая зал, Сергей увидел неподалеку двух пожилых художников, которые ещё недавно были его учителями. Они уже уселись на места, а он всё ещё стоял. Спohватившись, он поднял альбом и взялся за карандаш.

Но неожиданно, когда стихло, он опять увидел Ленина, очень быстро поднявшегося вверх между скамей амфитеатра. Его не сразу заметили, но, едва заметили, снова начали аплодировать и заполнять проход, по которому он почти взбегал. Он поровнялся с одним человеком и, весело улыбаясь, протянул ему руки. Тот встал навстречу Ленину, здороваясь неторопливо, с какой-то степенной манерой крестьянина и с приветливой, сдержанной улыбкой. Они разговаривали, всё больше наклоняясь друг к другу, потому что овация росла и люди обступили их кольцом.

— Это — Миха Цхакая, — услышал Сергей, — грузинский коммунист. Он жил с Лениным в Швейцарии.

Кольцо людей вокруг них сужалось, и Ленин, пожав руку Цхакая, почти прорвал неподатливую толпу, устремляясь назад, вниз, явно недовольный громом и толчейей.

Сергей следил за каждым его шагом. Ему казалось, что он успел заметить очень важные особенности движения этого невысокого, лёгкого человека, он уже видел их пойманными карандашом в своём альбоме.

Ленин, войдя в места президиума, на минуту исчез, потом вновь появился, и Сергей увидел, как он вынул из кармана бумаги и присел на ступеньку в проходе. Это случилось быстро, нечаянно, просто, и лучшей позы нельзя было ни ждать, ни вообразить. Сергей почувствовал, что его соседи-художники уже рисуют. Он сжал в пальцах карандаш, но не мог оторвать взгляда от Ленина.

Так хорошо была видна его голова — большая, необычная, запоминавшаяся в один миг. Ленин положил бумаги на колени и, читая, низко нагнулся над ними. Взмах его лба, темя, затылок с завитушками светлых

жёлтых волос, касавшихся воротника, странно преобладали во всём его облике. Сергей хотел сравнить Ленина с каким-нибудь образом, знакомым из истории или современности, но Ленин никого не повторял. Каждая чёрточка его принадлежала только ему.

Сергей, наконец, коснулся карандашом бумаги. Одним мягким, нащупывающим скольжением он прочертил контур ленинской головы и поднял глаза. Ленина уже не было.

#### 4

Сергей увидел его снова, когда он ступил на трибуну для доклада.

Восторженная овация встретила Ленина. Ему пришлось вынести её до конца. Он долго перебирал бумажки на кафедре. Потом, высоко подняв руку, тряс ею, чтобы уgomонить разбушевавшийся зал. Укоризненно и строго поглядывал он по сторонам — один среди клокотавшего шума. Вдруг он вынул часы и показал их аудитории, сердито постукивая пальцем по циферблату, — ничего не помогало. Тогда он опять принялся нервно пересматривать, перебирать бумажки, пока овация, словно исчерпав себя, не обратилась во внимающую тишину.

Ленин начал говорить.

Сергей увидел его в движении, передававшем мысль. Вот именно это и мечтал художник изобразить в рисунке. Черты Ленина, несколько минут назад совершенно точно уловленные, как будто исчезали в Ленине-ораторе и заменялись новыми, в непрерывном, живом чередовании. Одну за другой отмечал их в памяти Сергей, но они возникали и не повторялись, и он боялся упустить их и всё не решался начать рисовать и уже не мог бы сказать — что делает: изучает ли жестикуляцию Ленина, или слушает его речь.

Полная слитность жеста Ленина со словом поразила его. Содержание речи передавалось пластично, всем телом. Сергею казалось, будто жидкий металл влит в податливую форму: настолько точно внешнее движение сопутствовало слову, так бурно протекала передача огненного смысла речи.

Ленин часто глядел в свои записки и много называл цифр, но ни на одну минуту он не делался от этого

унылым профессором, оставаясь всё время покоряющим трибуном. Его высокий голос был неутомим, его язык — наглядно-прост, его произношение — мягко; он иногда грассировал на звуке «р», и это наделяло его слово человечностью, жизненно приближая речь к слушателю.

С таким чувством, как будто он не пропускает ни звука этой речи, Сергей принялся рисовать. Он набрасывал на бумагу приподнятую голову Ленина, его вытянутые руки, прямую, сильную, разогнутую линию спины, круглую, выпяченную грудь. Он оставлял один рисунок, начинал другой; то у него не получалось лицо, то — руки или торс. Он повторял удачное, бился над тем, что не удавалось, перевёртывал в альбоме лист за листом и — наконец — в испуге заметил, что цель, которую себе поставил, ничуть не приближалась.

Он посмотрел на своих учителей. Один из них, нагнувшись, старательно стирал нарисованное резинкой. Лысина его была пунцовой. Сергей вспомнил — он всегда краснел, если у него что-нибудь не получалось. Другой художник ушёл из ложи, пристроился в рядах, против трибуны, и, — бросив рисовать, — слушал Ленина.

Сергею вдруг сделалось страшно, что он навсегда упустит мгновение, что Ленин кончит речь, а в его альбоме так и не будет ни одного цельного наброска. Он вышел из ложи, насилию протолкавшись в дверях, где люди стояли плечом к плечу. Он стал внизу, в проходе, откуда Ленин показался ему больше и выше. Он решил, что это — самое выгодное место. Но тут мешал свет юпитеров: объективы фотокамер и кино, вместе с художниками, ловили неуловимого живого Ленина, и огни, миг ослепив, окунали зрение в темноту. Сергей перешёл на другую сторону от трибуны. Отсюда Ленин виден был почти силуэтно, потому что свет позади него падал ярче. Нет, первая позиция была лучше всех, надо было скорее, скорее возвращаться в ложу!

Место Сергея было занято, ему пришлось стоять. Но стоя он внезапно увидел всего Ленина; во весь рост и в той полноте, которая не давалась глазу, разывавшему на части исполненную цельности натуру. Сергей сразу взялся за новый рисунок. И тогда стала сказываться вся подготовка, всё неуверенное штудирование, этюды, сделанные как будто на ощупь, вслепую, и жесты, движения головы, черты лица, дополняя друг друга, соединяясь, начали медленно превращаться в связный

рисунок, в близкий к правде образ — в живого Ленина. Уже не отрываясь от альбома, быстро, без усилий рисовал Сергей.

Гулкий шум раскатился по залу. Сергей вскинул глаза. Взмахом руки собрав бумаги, Ленин легко сбежал с трибуны.

Сергей захлопнул альбом.

5

Когда кончилось заседание, в плотной, жаркой толпе делегатов Ленин вышел из дворца вместе с Горьким. Сверкающе-синий день слепил и обжигал после тёплого жёлтого полусвета зала. Теснота приостановила движение у самого выхода. Фотографы, наступая на делегатов со всех сторон, трещали затворами, обрадованные неистовым освещением. Горький и Ленин, подвинутые толпой, остановились у колонны дворцового крыльца. Их снимали не переставая. Гладко выбритая голубеющая голова Горького, блестящая на солнце, была видна далеко. Кругом повторялось его имя. Ленин стоял ниже, впереди него, тоже с непокрытой головой.

Сергей был рядом, и ему надо было бы рисовать. Но толпа сдавила его. Да он и не думал шевельнуться: так близко он ещё не видел Ленина за весь день. Он чувствовал, что улыбается и что улыбка его, может быть, не к месту, но она не спадала с лица, точно одеревянев. Конечно, он не мог радоваться, что фотографы нащёлкают несколько десятков плохих снимков, но он позавидовал приткности их беспечной профессии.

Шествие тронулось. Среди знамён, над головами, несли трёхметровый венок из дубовых веток и красных роз: направлялись к братской могиле на площади Жертв Революции.

Ленин шёл во главе делегатов конгресса. Рядом с ним всё время сменялись люди — иностранцы, русские, старые и молодые. Он кончал говорить с одним, начинал с другим, третьим.

Он шёл без пальто, расстегнув пиджак, закладывая руки то за спину, то в брючные карманы. Было похоже, что он не на улице, среди тяжёлых, огромных строений, а в обжитой комнате, дома: ровно ничего не находил он чрезвычайного в массе, окружавшей его,

и просто, свободно чувствовал себя во всеобщем неудержимом тяготении к нему людей.

Сергей, шедший поблизости, вдруг заметил знакомого человека, который, пробираясь между плотными рядами людей, вынырнул вперёд и, улучив минуту, поравнялся с Лениным. Это был брауншвейгец. Обстоятельно представившись и пожав Ленину руку, он приступил, как видно, к хорошо заготовленной тираде.

Ленин наклонил голову набок, чтобы лучше слышать низенького собеседника. Тот говорил, важно поводя длинной рукой, цenia свои внушительные слова, боясь проронить что-нибудь напрасно. Сначала Ленин был серьёзен. Потом заулыбался, прищурился, коротко подёргивая головой. Потом отшатнулся, обрывисто махнул рукою с тем выражением, с которым говорится: чушь, чушь! Брауншвейгец, жестикулируя, продолжал что-то доказывать. Ленин взял его за локоть и сказал две три фразы — кратких и каких-то окончательных, бесповоротных. Но брауншвейгец яростно возражал. Тогда вдруг Ленин слегка хлопнул его по плечу, засунул пальцы за жилет и стал смеяться, смеяться, раскачиваясь на ходу, прибавляя шаг и уже больше не оглядываясь на человека, который его так рассмешил.

«Не о пуговице ли заговорил неудачливый брауншвейгец? Возможно, конечно!», — улыбнулся Сергей, когда немец отстал от Ленина и затерялся в толпе. Странные чувства подняла эта сцена в Сергее. Она была немой для него, но — полная движения — так остро выразила в Ленине непринуждённость, доступность и беспощадное чувство смешного. Сергей видел Ленина весёлого, от души хохочущего, наблюдал его манеру спорить — с быстрыми переменами выражения лица, с лукаво прищуренным глазом, с жестами, полными страсти и воли. Сцена с брауншвейгцем должна была дополнить рисунок Сергея такими важными штрихами, каких прежде он не мог знать.

«Два председателя, — думал он, улыбаясь и словно всё ещё видя перед собою две фигуры, — председатель трёхдневного брауншвейгского правительства, канувшего в лету, и председатель правительства, которое существует три года, будет существовать всегда».

Незнакомое телесное ощущение гордости потоком захватило Сергея, и почти в тот же момент у него стало биться сердце от досады и волнующего

дерзкого желания: почему, почему так много людей подходят к Ленину, и он уделяет им время, а он — художник, который должен, который обязан и хочет навсегда запечатлеть Ленина для сотен, для тысяч людей, — почему он должен выискивать секунды, чтобы заглянуть в его лицо, рассмотреть его улыбку, поймать на лету его взгляд?

Сергей раскрыл альбом. В рисунке были черты сходства, несомненно. Пойманные бегло, мимолётно, они не обладали бесспорностью, но что сказал бы о них сам Ленин?

Сергея толкнули вперёд. А может быть, это ему показалось, — он сам протиснулся в передний ряд и уже маршировал вровень с Лениным. Он чуть не задыхался. Какой-то шаг отделял его от цели, и, — не зная, хватит ли силы, — он сделал этот шаг.

Он подошёл к Ленину.

— Я хочу... — сказал он, и едва придуманная фраза тотчас разломалась у него. — Владимир Ильич, как рисунок вы находите этот?

Ленин мельком глянул на Сергея, взял альбом за угол и, нагнувшись, сощурился на бумагу. Потом он отодвинул альбом, весело покосился на Сергея:

— Вам нравится? — спросил он со своим дружелюбным «р».

— Нет, — ответил Сергей, — но сходство, кажется, есть.

— Не могу судить, я не художник, — скороговоркой отозвался Ленин.

В глазах его мелькнуло шутливое лукавство, он откинул голову назад, ободряюще кивнул Сергею и отвернулся в другую сторону: с ним кто-то заговорил.

Сергея отеснили из первого, затем из второго ряда, он удивился: почему всё время он легко сохранял удобное место в шестии и сразу потерял его. Огорчение? Неловкость? Сергей заново вызвал в себе состояние, которое только что испытал. Нет, ни в голове, ни во взгляде Ленина не мелькнуло ничего, что могло бы встревожить. Но как пришло в голову показать Ленину неудавшийся рисунок? Это было малодушие. Сергей раскрыл и тотчас захлопнул альбом: рисунок никуда не годился!

Тогда кто-то взял его за локоть и потянул книзу. Он обернулся. Его жёстко держал брауншвейгец.

— Вы, мой друг, намеревались меня рисовать, — сказал он громко. — Сегодня вам это не удалось, но я могу вас принять завтра.

Приподняв над головой длинную, сухую руку, он хлопал Сергея по плечу.

— Дьявольски жаркий день! Совсем непохоже на вашу матушку Россию.

— Знаете что, — сказал Сергей, — я раздумал, я рисовать вас не буду.

— О, очень любезно! — расслышал он позади себя, пробираясь сквозь толпу.

Он тотчас забыл о немце. И в тот же момент он ощутил новое, тёплое пожатие руки. Его учитель, художник, рисовавший вместе с ним в ложе, со знакомой участливой вдумчивостью сказал тихо:

— Слышите? У меня не получается рисунок с Ленина. А у вас?

— У меня тоже, — ответил Сергей и, неожиданно прижимая к себе ласковую руку, с жаром договорил: — Но даю слово, даю вам честное слово — у меня непременно получится!..

А. ТВАРДОВСКИЙ  
ЛЕНИН И ПЕЧНИК

*По преданию*

В Горках знал его любой,  
Старики на сходку звали,  
Дети — пропросту — гурьбой,  
Чуть завидят, обступали.

Был он болен. Выходил  
На прогулку ежедневно.  
С кем ни встретится, любил  
Поздороваться душевно.

По походке всякий раз  
Мог его узнать бы каждый,  
Но один печник у нас  
Обмишурился однажды:

Видит издали печник,  
Видит, кто-то незнакомый  
По лугу по заливному,  
Без дороги — напрямик...

А печник и рад отчасти, —  
По-хозяйски, руку в бок, —  
Ведь при царской прежней власти  
Пофорсить он разве мог?

Грядка луку в огороде,  
Сажень улицы в селе,  
Никаких иных угодий  
Не имел он на земле...

— Эй, ты, кто там ходит лугом,  
Кто посмел топтать покос?! —  
Да с плеча на всю округу  
И — поехал, и — понёс.

Разошёлся,  
А прохожий  
Улыбнулся, кепку снял.  
— Хорошо ругаться можешь, —  
Только это и сказал.

Постоял ещё немного:  
Дескать, что ж, прости, отец.  
Мол, пойду другой дорогой...  
Тут бы делу и конец.

Но печник — душа живая —  
Знай меня, не лыком шит, —  
Припугнуть ещё желая,  
— Как фамилия? — кричит.

Тот вздохнул, пожал плечами,  
Лысый, ростом невелик.  
— Ленин, — просто отвечает.  
— Ленин? — Тут и сел старик...

День за днём проходит лето,  
Осень с хлебом на порог,  
И никак про этот случай  
Позабыть печник не мог.

Крякал, охал, сокрушался:  
Как так вышло, сорвалось.  
Снова встретиться боялся,  
Только встретиться пришлось.

Как-то утром по пороше  
Прямо к хате печника  
На коне, в возке хорошем —  
Два военных седока.

Заметалась беспокойно  
У окошка вся семья.  
Входят гости.  
— Вы такой-то?

Свесил руки:  
— Вот он я..  
— Собирайтесь! —

Взял он шубу,

Не найдёт, где рукава,  
А жена поёт:  
— За грубость,  
За свои идёшь слова.

Сразу слёзы непременно,  
К мужней шубе — головой.  
— Попрошу, — сказал военный, —  
Ваш инструмент взять с собой.

Скрылась хата за пригорком,  
Мчатся санки напрямиком,  
Поворот, усадьба Горки,  
Сад, подворье, белый дом.

В доме пусто, нелюдимо,  
Ни котёнка не видать.  
Тянет стужей, пахнет дымом,  
Ну, овин, — ни дать, ни взять.

Только сел печник в гостиной,  
Только — на пол свой мешок,  
Вдруг шаги, и дом пустынный  
Ожил весь, и на порог —

Сам, такой же, тот прохожий —  
Ленин. Сразу и узнал:  
— Хорошо ругаться можешь, —  
Поздоровавшись, сказал.

И об этом ни словечка,  
Будто всё, что было, — прочь.  
— Вот совсем не греет печка  
И дымит. Нельзя ль помочь?

Крякнул мастер осторожно,  
Краской густо залился.  
— То есть — как же так нельзя?  
То есть — вот как даже можно...

Тотчас шубу с плеч рывком,  
Достаёт инструмент: — Ну ка... —  
Печь голландскую кругом,  
Точно доктор, всю обстукал,

В чём причина, в чём беда,  
Сразу вызнал — и за дело.  
Закипела тут вода,  
Глина свежая поспела.

Всё нашлось — песок, кирпич,  
И спорится труд как надо.  
Тут — печник, а там — Ильич,  
За стеною пишет рядом.

И привычная легка  
Печнику работа.  
Отличиться велика  
У него охота.

Только будь, Ильич, здоров,  
Сладим — любо-мило.  
Чтоб — каких ни сунуть дров —  
Грела, не дымила.

Чтоб в тепле писать тебе  
Все твои бумаги,  
Чтобы ветер пел в трубе  
От весёлой тяги.

Тяга слабая сейчас,  
Дело поправимо.  
Дело это — плюнуть раз,  
Друг ты наш любимый...

Так он думает, кладёт  
Кирпичи по струнке ровно.  
Мастерит легко, любовно,  
Словно песенку поёт.

Нет, вовек на этом свете  
От любимого труда  
Весел так, душою светел  
Не был мастер никогда.

Печь исправлена. Под вечер  
В ней защёлкали дрова.  
Тут и вышел Ленин к печи  
И сказал свои слова.

Он сказал, — тех слов дороже  
Не слышал ещё печник:  
— Хорошо работать можешь,  
Очень хорошо, старик!

И у мастера от пыли  
Зачесались вдруг глаза.  
Ну, а руки в глине были,  
Значит, вытереть нельзя.

Получилось — не иначе.  
Получилось так точь-в-точь,  
Что стоит старик и плачет.  
А — старик! Невеста дочь.

Разве дело? Но едва ли  
Ленин видел — вышел он.  
А потом за стол позвали  
Печника, — ну сон и сон!

За столом сидели вместе,  
Пили чай, велася речь  
По порядку, честь по чести,  
Про дела, про ту же печь.

Успокоившись немного,  
Разогревшись за столом,  
Приступил старик с тревогой  
К разговору об ином...

Мол, за добрым угощением  
Умолчать я не могу,  
Мол, прошу, Ильич, прощенья  
За ошибку на лугу.

Сознаю свою ошибку...  
Только Ленин перебил.  
— Вон ты что, — сказал с улыбкой, —  
Я про то давно забыл...

По морозцу мастер вышел,  
Оглянулся не спеша —  
Дым столбом стоит над крышей, —  
То-то тяга хороша!

Счастлив, доверху доволен,  
Как идёт, не чует сам,  
Старый садом, белым полем  
На деревню зачесал... (или)

И до самого крылечка  
Всё в глазах, — пока бежал:  
Как пылает в Горках печка,  
Как мигает крупный жар...

Не спала жена, встречает:  
— Где ты, как? Душа горит..  
— Да у Ленина за чаем  
Засиделся, — говорит.

Н. ОСТРОВСКИЙ  
КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

*Отрывки*

Ледяной стужей ознаменовал своё вступление в историю тысяча девятьсот двадцать четвёртый год. Рассвирепел январь на занесённую снегом страну и со второй половины завыл буранами и затяжной метелью.

На Юго-Западных дорогах заносило снегом пути. Люди боролись с озверелой стихией. В снежные горы врезались стальные пропеллеры снегоочистителей, пробивая путь поездам. От мороза и выюги обрывались оледенелые провода телеграфа, из двенадцати линий работали только три: индо-европейский телеграф и две линии прямого провода.

В комнате телеграфа станции Шепетовка-первая три аппарата Морзе не прекращают свой понятный лишь опытному уху неустанный разговор.

Телеграфистки молоды, длина ленты, отстуканной ими с первого дня службы, не превышает длины двадцати километров, в то время как старик, их коллега, уже начинает третью сотню километров. Он не читает, как они, ленты, не морщит лоб, складывая трудные буквы и фразы. Он выписывает на бланки слово за словом, прислушиваясь к стуку аппарата. Он принимает по слуху: «Все́м, все́м, все́м!»

Записывая, телеграфист думает: «Наверное, опять циркуляр о борьбе с заносами». За окном выюга, ветер бросает в стекло горсти снега. Телеграфисту почудилось, что кто-то постучал в окно: он повернул голову и невольно залюбовался красотой морозного рисунка на стёклах. Ни одна человеческая рука не смогла бы вырезать этой тончайшей гравюры из причудливых листьев и стеблей.

Отвлечённый этим зрелищем, он перестал слушать аппарат и, когда отвёл взгляд от окна, взял на ладонь ленту, чтобы прочесть пропущенные слова.

Аппарат передавал:

«Двадцать первого января в шесть часов пятьдесят минут...»

Телеграфист быстро записал прочитанное и, бросив ленту, оперев голову на руки, стал слушать.

«...Вчера в Горках скончался...» Телеграфист медленно записывал. Сколько в своей жизни прослушал он радостных и трагических сообщений, первым узнавал чужое горе и счастье. Давно уже перестал вдумываться в смысл скупых, оборванных фраз, ловил их слухом и механически заносил на бумагу, не раздумывая над содержанием.

Вот сейчас кто-то умер, кому-то сообщают об этом. Телеграфист забыл про заголовок: «Всем, всем, всем!» Аппарат стучал. «В л а д и м и р И л ь и ч», — переводил стуки молоточка в буквы старик-телеграфист. Он сидел спокойно, немного усталый. Где-то умер какой-то Владимир Ильич, кому-то он запишет сегодня трагические слова, кто-то зарыдает в отчаянии и горе, а для него это всё — чужое, он — посторонний свидетель. Аппарат стучит — точки, тире, опять точки, опять тире, — а он из знакомых звуков уже сложил первую букву и занёс её на бланк, — это была «Л». За ней он написал вторую — «Е», рядом с ней старательно вывел «Н», дважды подчеркнул перегородку между палочками, сейчас же присоединил к ней «И» и уже автоматически уловил последнюю — «Н».

Аппарат отстукивал паузу, и телеграфист на одну десятую секунды остановился взглядом на выписанном им слове: ЛЕНИН.

Аппарат продолжал стучать, но случайно наткнувшаяся на знакомое имя мысль вернулась опять к нему. Телеграфист ещё раз посмотрел на последнее слово — ЛЕНИН. Что? Ленин? Хрусталик глаза отразил в перспективе весь текст телеграммы. Несколько мгновений телеграфист смотрел на листок, и в первый раз за тридцатидвухлетнюю работу он не поверил записанному.

Он трижды бегло пробежал по строкам, но слова упрямо повторялись: «Скончался Владимир Ильич Ленин». Старик вскочил на ноги, поднял спиральный

виток ленты, впился в неё глазами. Двухметровая полоска подтвердила то, во что он не мог поверить!

Он повернул к своим товаркам помертвелое лицо, и они услышали его испуганный вскрик:

— Ленин умер!

Весть о великой утрате выскользнула из аппаратной в распахнутую дверь и с быстротой вьюжного ветра заметалась по вокзалу, вырвалась в снежную бурю, закружила по путям и стрелкам и с ледяным сквозняком ворвалась в приоткрытую половину кованных железом деповских ворот.

В депо над первой ремонтной траншеей стоял паровоз, его лечила бригада лёгкого ремонта. Старик Полентовский сам залез в траншею под брюхо своего паровоза и показывал слесарям больные места. Захар Брузжак выравнивал с Артёмом вогнутые переплёты колосников. Он держал решётку на наковальне, подставляя её под удары молота Артёма.

Захар постарел за последние годы, пережитое оставило глубокую рытвину-складку на лбу, а виски посебребрила седина. Сутулилась спина, и в ушедших глубоко глазах стояли сумерки.

В светлом прорезе деповской двери промелькнул человек, и предвечерние тени проглотили его. Удары по железу заглушили первый крик, но, когда человек добежал к людям у паровоза, Артём, поднявший молот, не опустил его.

— Товарищи! Ленин умер!

Молот медленно скользнул с плеча, и рука Артёма незвучно опустила его на цементный пол.

— Ты что сказал? — рука Артёма сгребла клещами кожу полушубка на том, кто принёс страшную весть.

А тот, засыпанный снегом, тяжело дыша, повторил уже глухо и надорванно:

— Да, товарищи, Ленин умер.

И оттого, что человек уже не кричал, Артём понял жуткую правду и тут разглядел лицо человека: это был секретарь партколлектива.

Из траншеи вылезали люди, молча слушали о смерти того, чьё имя знал весь мир.

А у ворот, заставив всех вздрогнуть, заревел паровоз. Ему отозвался на краю вокзала другой, третий...

В их мощный и напоённый тревогой призыв вошёл гудок электростанции, высокий и пронзительный, как полёт шрапнели. Чистым звоном меди перекрыл их быстройходный красавец «С» — паровоз готового к отходу на Киев пассажирского поезда.

Вздрогнул от неожиданности агент ГПУ, когда машинист польского паровоза прямого сообщения Шепетовка — Варшава, узнав о причине тревожных гудков, с минуту прислушался, затем медленно поднял руку и потянул вниз цепочку, открывающую клапан гудка. Он знал, что гудит последний раз, что ему не служить больше на этой машине, но его рука не отрывалась от цепи, и рёв его паровоза поднимал с мягких диванов купе перепуганных польских курьеров и дипломатов.

Депо наполнили люди. Они вливались во все ворота, и, когда большое здание было переполнено, в траурном молчании раздались первые слова.

Говорил секретарь шепетовского окружкома партии, старый большевик Шарабрин.

— Товарищи! Умер вождь мирового пролетариата — Ленин. Партия понесла невозвратимую потерю. Умер тот, кто создал и воспитал в непримиримости к врагам большевистскую партию... Смерть вождя партии и класса зовёт лучших сынов пролетариата в наши ряды...

Звуки траурного марша, сотни обнажённых голов, и Артём, который за последние пятнадцать лет не плакал, почувствовал, как подобралась к горлу судорога и могучие плечи дрогнули.

Казалось, стены железнодорожного клуба не выдержат напора человеческой массы. На дворе жестокий мороз, одеты снегом и ледяными иглами две разлапистые ели у входа, но в зале душно от жарко натопленной голландки и дыхания шестисот человек, пожелавших участвовать в траурном заседании партколлектива.

Не было в зале обычного шума, разговоров. Великая скорбь приглушила голоса, люди разговаривали тихо, и не в одной сотне глаз читалась скорбная тревога. Казалось, что здесь собрался экипаж судна, потерявший своего испытанного штурмана, унесённого шквалом в море.

Так же тихо заняли свои места за столом президиума члены бюро. Коренастый Сиротенко осторожно приподнял звонок, чуть звякнул им и снова опустил его на

стол. Этого было достаточно, и постепенно гнетущая тишина воцарилась в зале.

Сейчас же после доклада из-за стола поднялся отсекр коллектива Сиротенко. То, что он сказал, никого не удивило, хотя было необычно на траурном заседании. А Сиротенко сказал:

— Ряд рабочих просит заседание рассмотреть их заявление, подписанное тридцатью семью товарищами. — И он прочёл заявление:

— «В железнодорожный коллектив коммунистической партии большевиков станции Шепетовка, Юго-Западной железной дороги.

Смерть вождя призвала нас в ряды большевиков, и мы просим проверить нас на сегодняшнем заседании и принять в партию Ленина».

Вслед за этими краткими словами стояли две колонны подписей.

Сиротенко читал их, останавливаясь после каждой на несколько секунд, чтобы собравшиеся в зале могли запомнить знакомые имена:

— Полентовский Станислав Зигмундович — паровозный машинист, тридцать шесть лет производственного стажа.

По залу пробежал гул одобрения.

— Корчагин Артём Андреевич — слесарь, семнадцать лет производственного стажа.

— Брузжак Захар Филиппович — паровозный машинист, двадцать один год производственного стажа.

Гул в зале нарастал, а человек у стола продолжал называть фамилии, и зал слушал имена кадровиков железно-мазутного племени.

Совсем тихо стало в зале, когда к столу подошёл первый, поставивший свою подпись.

Старик Полентовский не мог не волноваться, рассказывая слушающим историю своей жизни.

— ...Что же мне ещё сказать, товарищи? Жизнь у рабочего человека в старое время была известно какая. Жил в кабале и пропадал нищим в старости. Что ж, признаюсь, когда революция настала, то считал я себя стариком. Семья на плечи давила, и проглядел я дорогу в партию. И хотя в драке никогда врагу не помогал, но и в бой ввязывался редко. В девятьсот пятом в варшавских мастерских был в забастовочном комитете и с большевиками заодно шёл. Молодость была тогда и

ухватка горячая. Что старое вспоминать! Ударила меня Ильичёва смерть по самому сердцу, потеряли мы навсегда своего друга и старателя, и нет у меня больше слов о старости!.. Пущай кто покрасивее скажет, я не мастак на слово. Одно только подтверждаю: мне с большевиками по пути, и никак не иначе.

Седая голова машиниста упрямо качнулась, и взгляд из-под седых бровей твёрдо и немигающе устремлён в зал, от которого он как бы ждал решения.

Ни одна рука не поднялась дать отвод этому низенькому с седой головой человеку, и ни один не воздержался при голосовании, когда бюро просило беспартийных сказать своё слово.

От стола Полентовский уходил коммунистом.

Каждый в зале понимал, что сейчас происходит необычное. Там, где только что стоял машинист, уже громоздилась фигура Артёма. Слесарь не знал, куда деть свои длинные руки, и сжимал ими ушастую шапку. Протёртый на бортах овчинный полушубок распахнут, а ворот серой солдатской гимнастёрки, аккуратно застёгнутый на две медные пуговицы, делает фигуру слесаря празднично опрятной. Артём повернул лицо к залу и мельком уловил знакомое женское лицо: среди своих из пошивочной мастерской сидела Галина, дочка каменотёса. Она улыбнулась ему прощающе, в её улыбке было одобрение и ещё что-то — недосказанное, скрытое в уголках губ.

— Расскажи свою биографию, Артём! — услышал слесарь голос Сиротенко.

Трудно начинал свою повесть Корчагин-старший, не привык говорить на большом собрании. Только теперь почувствовал, что не передать ему всего накопленного жизнью. Тяжело складывались слова, да ещё волнение мешало говорить. Никогда не испытывал он чего-либо подобного. Он отчётливо сознавал, что жизнь его пошла на крутой перелом, что он — Артём — делает сейчас последний шаг к тому, что согреет и осмыслит его заскорузло-суровое существование.

— Было нас у матери четверо, — начал Артём.

В зале тихо. Шестьсот внимательно слушают высокого мастерового с орлиным носом и глазами, спрятанными под чёрной бахромой бровей.

— Мать кухарила по господам. Отца мало помню, неполадки у него с матерью были. Заливал он в горло

больше, чем следует. Жили мы с матерью. Невмоготу ей было столько ртов выкормить. Платили ей господа в месяц четыре целковых с харчами, и гнула она горб от зари до ночи. Посчастливилось мне две зимы ходить в начальную школу, научили меня читать и писать, а как мне десятый год подошёл, не стало у матери иного спасения, как отвезти меня в слесарную мастерскую шкетом на выучку. Без жалованья на три года — за одни харчи... Хозяин мастерской был немец, по фамилии Ферстер. Не хотел он было меня брать по малости, но хлопец я был здоровый, и мать мне два года прибавила. Был я у этого немца три года. Ремеслу меня не учили, а гоняли по хозяйским делам да за водкой. Пил он намёртвую... Гонял и за углём и за железом... Заделала меня хозяйка своим холуём; таскал я у неё горшки и чистил картошку. Каждый норовил пнуть ногой, часто совсем без причины — так уж, по привычке; не потрафлю хозяйке чем — она из-за пьянки мужа на всех злая была, — хлестнёт меня раз-другой по морде. Вырвешься от неё на улицу, а куда пойдёшь, кому пожалуешься? Мать за сорок вёрст, да и у неё приюту нет... В мастерской не лучше. Заправлял там всем брат хозяйский. Любил этот гад надо мной шутки строить. «Подай, говорит, мне вон ту шайбу», — и покажет на землю в угол, где кузнечный горн. Я туда, хватъ шайбу рукой, а он её только что отковал, из горна вынули. На земле она лежит чёрная, ахватишь — сожжёшь пальцы до мяса. Кричишь от боли, а он ржёт, заливаётся. Невмоготу мне стало от этой молотилки, сбежал я к матери. А той девать меня некуда. Привезла она меня к немцу обратно, везла и плакала. На третий год стали мне кое-что показывать по-слесарному, а мордобитие продолжали. Убёг я опять, подался в Староконстантинов. В этом городе нанялся в колбасную и отсобачил там, кишки моючи, полтора с лишним года. Проиграл наш хозяин своё заведение, не заплатил нам за четыре месяца ни гроша и смылся куда-то. Так я из этой трубы выбрался. Сел на поезд, в Жмеринке вылез и пошёл работу искать. Спасибо одному деповскому, посочувствовал он моему положению. Разузнал, что я кое-что по-слесарному кумекаю, взялся за меня, как за племянника, по начальству ходатайствовать. По росту дали мне семнадцать лет, и стал я подручным мастера. Здесь я девятый год работаю. Вот

оно — насчёт жизни прежней, а про здешнее вы всё знаете.

Артём провёл шапкой по лбу и глубоко вздохнул. Надо было сказать ещё самое главное, самое для него тяжёлое, не дожидаясь чьего-либо вопроса. И, вплотную сдвинув густые брови, он продолжал свою повесть:

— Каждый может меня спросить: почему я не в большевиках ещё с той поры, когда огонь загорелся? Что же мне на это сказать? Ведь мне до старости ещё далеко, а вот только нонче нашёл сюда дорогу. Что же я тут скрывать буду? Проглядели мы эту дорогу, нам ещё в восемнадцатом, когда против немца бастовали, начинать надо было. Жухрай, матрос, с нами не раз разговаривал. Только в двадцатом взялся я за винтовку. Кончилась заваруха, поскидали белых в Чёрное море, повертались мы обратно. Тут семья, дети... Завалился я в домашность. Но когда погиб наш товарищ Ленин и партия бросила клич, — посмотрел я на свою жизнь и разобрался, чего в ней нехватает. Мало свою власть защищать, надо всей семьёй заместо Ленина, — чтобы власть советская, как гора железная, стояла. Должны мы большевиками стать — партия наша ведь?

Просто, но с глубокой искренностью, смущаясь за необычный слог своей речи, закончил слесарь и, будто сняв с плеч тяжесть, выпрямился во весь рост и ждал вопросов.

— Может, кто желает спросить о чём-нибудь? — нарушил тишину Сиротенко.

Людские ряды зашевелились, но из зала ответили не сразу. Черный, как жук, кочегар, явившийся на собрание прямо с паровоза, бросил решительно:

— О чём его спрашивать? Разве мы его не знаем? Дать ему путёвку, и всё тут!

Коренастый, красный от жары и напряжения кузнец Гиляка прохрипел простуженно:

— Такой под откос не слезет, товарищ будет крепкий. Голосуй, Сиротенко!

В задних рядах, где сидели комсомольцы, поднялся один, не видный в полутьме, и спросил:

— Пусть товарищ Корчагин скажет: почему он на землю осел и не отрывает ли его крестьянство от пролетарской психологии?

В зале прошёл лёгкий шум неодобрения, и чей-то голос запротестовал:

— Говори по-простому! Нашёл, где звонарить...

Но Артём уже отвечал:

— Ничего, товарищ. Этот парень правильно говорит, что я на землю осел. Это верно, но от этого я рабочей совести не растерял. Кончилось это с нынешнего дня. Переселяюсь с семьёй к депо поближе, здесь верней. А то мне от этой земли дышать трудно.

Ещё раз дрогнуло сердце Артёма, когда глядел на лес поднятых рук, и, уже не чувствуя тяжести своего тела, не сутуля спины, пошёл к своему месту. Сзади услышал голос Сиротенко:

— Единогласно.

В. МАЯКОВСКИЙ  
МЫ НЕ ВЕРИМ!

Тенью истемня весенний день,  
выклеен правительственный бюллетень.  
Нет!

Не надо!  
Разве молнии велишь  
не литься?

Нет!  
Не оковать язык грозы!  
Вечно будет  
тысячестраничный  
грохотать  
набатный  
ленинский язык.

Разве гром бывает немостою болен?!  
Разве удержишь смерч,  
чтоб вихрем не кипел?!

Нет!  
Не ослабеет ленинская воля  
в миллионносильной воле РКП.  
Разве жар  
такой  
термометрами меряется?  
Разве пульс  
такой  
секундами гудит?!  
Вечно будет ленинское сердце

клокотать

у революции в груди.

Нет!

Нет!

Не-е-т...

Не хотим,

не верим в белый бюллетень.

С глаз весенних

сгинь, навязчивая тень!

В. ИНБЕР

**ПЯТЬ НОЧЕЙ И ДНЕЙ**

*На смерть Ленина*

И прежде, чем укрыть в могиле  
Навеки от живых людей,  
В Колонном зале положили  
Его на пять ночей и дней...

И потекли людские толпы,  
Неся знамёна впереди,  
Чтобы взглянуть на профиль жёлтый  
И красный орден на груди.

Текли. А стужа над землёю  
Такая лютая была,  
Как будто он унёс с собою  
Частицы нашего тепла.

И пять ночей в Москве не спали  
Из-за того, что он уснул.  
И был торжественно-печален  
Луны почётный караул.

В. МАЯКОВСКИЙ  
КОМСОМОЛЬСКАЯ

*Смерть —  
не сместь!*

Строит,  
    рушит,  
        кроит  
            и рвёт,  
тухнет,  
    кипит  
        и пенится,  
гудит,  
    говорит,  
        молчит  
            и ревёт —  
юная армия:  
    ленинцы.  
Мы  
    новая кровь  
        городских жил,  
тело нив,  
    ткацкой идеи  
        нить,  
Ленин —  
    жил,  
Ленин —  
    жив,  
Ленин —  
    будет жить.  
Залили горем.  
    Свезли в мавзолей  
частицу Ленина —  
    тело.

Но тленью не взять —  
ни земле,  
первейшее в Ленине — ни золе —  
дело.

Смерть,  
косу положи!  
Приговор лжив.  
С таким  
небесам  
не блажить.

Ленин —  
жил,  
Ленин —  
жив,  
Ленин —  
будет жить.  
Ленин —  
жив  
шаганьем Кремля —  
вождя  
капиталовых пленников.  
Будет жить,  
и будет  
земля  
гордиться именем  
Ленина.

Ещё  
по миру  
пройдут мятежи —  
сквозь все межи  
коммуне  
путь проложить.

Ленин —  
жил,  
Ленин —  
жив,  
Ленин —  
будет жить.  
К сведению смерти,  
старой карги,  
гонящей в могилу  
и старящей:

«Ленин» и «Смерть» — слова-враги.  
«Ленин» и «Жизнь» — товарищи.

Твёрже  
печаль держи.  
Грудью  
в горе прилив.

Нам —  
не ныть.

Ленин —  
жил.

Ленин —  
жив.

Ленин —  
будет жить.

Ленин рядом.  
Вот  
он.

Идёт  
и умрёт с нами.

И снова  
в каждом рождённом рождён —  
как сила,  
как знанье,  
как знамя.

Земля,  
под ногами дрожи.  
За все рубежи  
слова —  
взвивайтесь кружить.

Ленин —  
жил.

Ленин —  
жив.

Ленин —  
будет жить.

Ленин ведь  
тоже  
начал с азов, —  
жизнь —  
мастерская геньина.





С низа лет,  
с класса низов —  
рвись  
разгромадиться в Ленина.  
Дрожите, дворцов этажи!  
Биржа нажив,  
будешь,  
битая,  
выть.

Ленин —  
жил,  
Ленин —  
жив,  
Ленин —  
будет жить.

Ленин —  
больше  
самых больших,  
но даже  
и это  
диво  
создали всех времён  
малыши —

мы,  
малыши коллектива.  
Мускул  
узлом вяжи.  
Зубы — ножи  
в знанье.  
Вонзай крошить.

Ленин —  
жил,  
Ленин —  
жив,  
Ленин —  
будет жить.

Строит,  
рушит,  
кроит  
и рвёт,

тихнет,  
кипит  
и пенится,  
гудит,  
молчит,  
говорит  
и ревёт —  
юная армия:  
ленинцы.

Мы  
новая кровь  
городских жил,  
тело нив,  
ткацкой идеи  
нить.

Ленин —  
жил,  
Ленин —  
жив,  
Ленин —  
будет жить.

В. БРЮСОВ

ЛЕНИН

Кто был он? — Вождь, земной Вожатый  
Народных воль, кем изменён  
Путь человечества, кем сжаты  
В один поток волны времён.

Октябрь лёг в жизни новой эрой,  
Властней века разгородил,  
Чем все эпохи, чем все меры,  
Чем Ренессанс и дни Атилл,

Мир прежний сякнет, слаб и тленен;  
Мир новый — общий океан —  
Растёт из бурь октябрьских: Ленин  
На рубеже как великан.

Земля! Зелёная планета!  
Ничтожный шар в семье планет!  
Твоё величье — имя это,  
Меж слав твоих — прекрасней нет!

Он умер; был одно мгновенье  
В веках; но дел его объём  
Превысил жизнь, и откровенья  
Его — мирам мы понесём!

С. ЕСЕНИН

ЛЕНИН

*Из поэмы*

.....  
Россия —  
Страшный, чудный звон.  
В деревьях березь, в цветъ подснежник.  
Откуда закатился он,  
Тебя встревоживший мятежник?  
Суровый гений! Он меня  
Влечёт не по своей фигуре.  
Он не сядил на коня  
И не летел навстречу буре.  
С плеча голов он не рубил,  
Не обращал в побег пехоту.  
Одно в убийстве он любил —  
Перепелиную охоту.

Для нас условен стал герой,  
Мы любим тех, кто в чёрных масках,  
А он с сопливой детворой  
Зимой катался на салазках.  
И не носил он тех волос,  
Что льют успех на женщин томных, —  
Он с лысиною, как поднос,  
Глядел скромней из самых скромных.  
Застенчивый, простой и милый,  
Он вроде сфинкса предо мной.  
Я не пойму, каксю силой  
Сумел потрясть он шар земной?  
Но он потряс...  
Шуми и вей!  
Крути свирепей, непогода,

Смывай с несчастного народа  
Позор острогов и церквей.

Была пора жестоких лет,  
Нас пестовали злые лапы.  
На поприще крестьянских бед  
Цвели имперские сатрапы.

Монархия! Зловещий смрад!  
Веками шли пиры за пиром.  
И продал власть аристократ  
Промышленникам и банкирам.  
Народ стонал, и в эту жуть  
Страна ждала кого-нибудь...  
И он пришёл.

Он мощным словом  
Повёл нас всех к истокам новым.  
Он нам сказал: чтоб кончить муки,  
Берите всё в рабочьи руки.  
Для вас спасенья больше нет —  
Как ваша власть и ваш Совет...

И мы пошли под визг метели,  
Куда глаза его глядели;  
Пошли туда, где видел он  
Освобожденье всех племён.

И вот он умер...  
Плач досаден.  
Не славят музы голос бед.  
Из медно лающих громадин  
Салют последний даден, даден.  
Того, кто спас нас, больше нет.  
Его уже нет, а те, кто вживе,  
А те, кого оставил он,  
Страну в бушующем разливе  
Должны заковывать в бетон.  
Для них не скажешь:  
Ленин умер.  
Их смерть к тоске не привела.

Ещё суровей и угрюмей  
Они творят его дела...

А. АКОПЯН  
БЕССМЕРТЕН ЛЕНИН

Кто говорит, что умер Ленин?  
Ведь солнце светит, не сгорая,  
И дышит океан, волной вскипая,  
И Марс на небе неизменен,  
И высятся крутые Гималаи.  
Его дела, как солнце, светят нам,  
Как волны океана, закипая,  
Его завет высок, как в небе Марс,  
Неколебим, как горы Гималаев.  
Кто знает то? Быть может, день придёт,  
И солнце догорит на небосклоне,  
И океан, владыка грозных вод,  
В предсмертных судорогах застонет,  
И Марс падёт, в ночи сгорая,  
И рухнут камни Гималаев...  
Но до последнего дыханья человека  
Да будет жить, велик и неизменен,  
От века нашего, от века и до века  
Бессмертное, простое имя — Ленин!

С. НЕРИС  
ЛЕНИН НЕ УМРЁТ

Драгоценное лицо недвижно,  
Сон великий тих и непробуден.  
Алые знамёна рдеют пышно...  
Путь победы! Он высок и труден.

Не литовские крутые грозы,  
Не балтийские литые волны, —  
Сёстры дорогие, это слёзы,  
Только слёзы, и они безмолвны.

Словно кровь из ран, текут невольно.  
В том, что плачу, я не виновата...  
Значит, сердцу нестерпимо больно...  
Вот он край, где Ленин жил когда-то!

Сена стог постелью был и крышей  
В злые дни осенней непогоды.  
Как живого, Ленина я вижу,  
На борьбу ведущего народы.

Он, бессмертной бурею испытан,  
Нас провёл сквозь выюгу, кровь и пламя,  
А теперь в гробу стеклянном спит он  
Дни за днями, ночи за ночами.

По его следам, к его высотам  
Мы ведём иные поколения.  
Ленин — в них, и с ними не умрёт он,  
Никогда ему не знать забвенья!

Он навек любим и незабвенен;  
Сила сердца нас ведёт всё та же;  
Сталина оставил миру Ленин,  
Нашу правду и бессмертье наше.

В. МАЯКОВСКИЙ  
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

Отрывки из поэмы

ВКП(б) посвящая

Время —  
                  начинаю  
                                  про Ленина рассказ.  
Но не потому,  
                                  что горя  
  нету более,  
время  
                  потому,  
                                  что резкая тоска  
стала ясною,  
                                  осознанною болью.  
Время,  
                  снова  
                                  ленинские лозунги развихрь.  
Нам ли  
                  растекаться  
                                  слёзной лужею?  
Ленин  
                  и теперь  
                                  живее всех живых.  
Наше знанье,  
                                  сила  
  и оружие.  
.....  
Богу  
                  почести казённые  
                                  не новость.  
Нет!

Сегодня  
настоящей болью,  
сердце, холодей.

Мы  
хороним  
самого земного  
изо всех  
прошедших  
по земле людей.

Он земной,  
но не из тех,  
кто глазом  
упирается  
в своё корыто.

Землю  
всю  
охватывая разом,  
видел  
то,  
что временем закрыто.

Он, как вы  
и я,  
совсем такой же,  
только,  
может быть,  
у самых глаз  
мысли  
больше нашего  
морщият кожей  
да насмешливей и твёрже губы,  
чем у нас.

Не сатрапья твёрдость,  
триумфаторской коляской  
мнущая  
тебя,  
подёргивая вожжи.

Он  
к товарищу  
милел  
людскою лаской.

Он  
к врагу  
вставал  
железа твёрже.







Шагом человеческим,  
рабочими руками,  
собственной головой  
прошёл он  
этот путь.

Сверху  
взгляд  
на Россию брось —  
рассинелась речками,

словно  
разгулялась  
тысяча розг,  
словно  
плетью исполосована.

Но синей,  
чем вода весной,  
синяки  
Руси крепостной.

Ты  
с боков  
на Россию глянь —

и куда  
глаза ни кинь,  
упираются  
небу в склянь

горы,  
каторги  
и рудники.

Но и каторг  
больнее была  
у фабричных станков  
кабала.

Были страны  
богатые более,  
красивее видал  
и умней.

Но земли  
с ещё большей болью  
не доводилось  
видеть

мне.  
Да, не каждый  
удар  
сотрёшь со щеки.



Станет гоголем,  
а ты  
венком его величь.  
Не такой —  
чернорабочий,  
ежедневный подвиг  
на плечи себе  
взвалил Ильич.  
Он вместе  
учит в кузничной пасти,  
как быть,  
чтоб зарплата  
взросла пятаком,  
что делать,  
если  
дерётся мастер,  
как быть,  
чтоб хозяин поил кипятком.  
Но не мелочь  
целью в конце:  
победив,  
не стой так  
над одной  
сметённой лужею.  
Социализм — цель.  
Капитализм — враг.  
Не веник —  
винтовка оружие.  
Тысячи раз  
одно и то же  
он вбивает  
в тугой слух,  
в назавтра  
друг в друга вложит  
руки  
понявших двух.  
Вчера — четыре,  
сегодня — четыреста.  
Таимся,  
а завтра  
в открытую встанем,  
и эти  
четыреста  
в тысячи вырастут.

Трудящихся мира  
 Мы уже не тише вод,  
 гнев трудящихся  
 режет  
 сыпет  
 Бился  
 тѣк  
 и, обданный  
 с классом  
 И уже  
 то,  
 — Мы  
 за освобождение  
 Ленинизм идёт  
 вширь  
 Кровью  
 подыдем восстанием.  
 травинок ниже, —  
 густится в туче,  
 молниями  
 Ильичёвых книжек,  
 градом  
 прокламаций и летучек.  
 об Ленина  
 тѣмный класс,  
 от него  
 в просветлены,  
 силой  
 и мыслями масс,  
 рос  
 Ленин.  
 превращается в быть  
 в чѣм юношей  
 Ленин клялся:  
 не одиночки,  
 мы —  
 союз борьбы  
 рабочего класса. —  
 всё далее  
 и более  
 учениками  
 Ильичёвой выверки.  
 вписан  
 героизм подполья

в пыль  
и в слякоть  
бесконечной Володимирки.

Нынче  
нами  
шар земной заверчен,  
даже  
мы  
в кремлёвских креслах если, —  
скольким  
вдруг  
из-за декретов Нерчинск  
кандалами  
раззвенится в кресле!

Вам  
опять  
напомню птичий путь я.  
За волчком —  
трамваев  
электрическая рысь.

Кто  
из вас  
решётчатые прутья  
не царапал  
и не грыз?!

Лоб  
разбей  
о камень стенки тесной, —  
за тобою  
смыли камеру  
и замели.

«Служил ты недолго, но честно  
на благо родимой земли».  
Полюбилась Ленину  
в какой из ссылок

этой песни  
траурная сила?  
Говорили —  
мужичок  
своей пойдёт дорогой,  
заведёт  
социализм  
бесхитростен и прост.

Нет,  
и Русь  
от труб  
становится сторбгой,  
город  
дымной бородой оброс.  
Не попросят в рай —  
пожалуйста,  
войдите, —  
через труп буржуазии  
коммунизма шаг.  
Ста крестьянским миллионам  
пролетариат — водитель.  
Ленин —  
пролетариев вожак.  
Понаобещает либерал  
или эс-эрик прыткий,  
сам охочий до рабочих щей,  
Ленин  
фразочки  
с него  
пооборвёт до нитки,  
чтоб из книг сиял  
в дворянском нагише.  
И нам  
уже  
не разговорцы досужие,  
что-де свобода,  
что люди братья, —  
мы  
в Марксовом всеоружии  
одна  
на мир  
большевистская партия.  
Америку  
пересекаешь  
в экспрессном купе,  
идёшь Чухломой —  
тебе  
в глаза  
вонзается теперь  
РКП,  
и в скобках  
маленькое „б“.

Теперь  
на Марсов охотится Пулково,  
перебирая небесный ларчик.  
Но миру эта строчная буква  
в сто крат красней,  
грандиозней и ярче.  
Слова у нас,  
до важного самого,  
в привычку входят,  
ветшают, как платье,  
хочу сиять заставить заново,  
величественнейшее слово —  
«п а р т и я».  
Единица!  
Кому она нужна?  
Голос единицы  
тоньше писка.  
Кто её услышит? —  
разве жена!  
И то если не на базаре,  
а близко.  
Партия —  
это единый ураган,  
из голосов спрессованный  
тихих и тонких,  
от него  
лопаются укрепления врага,  
как в канонаду от пушек  
перепонки.  
Плохо человеку,  
когда он один.  
Горе одному —  
один не воин, —

Каждый дюжий  
   ему господин,  
 и даже слабые,  
   если двое.

А если  
   в партию  
 сдайся, враг,  
   сгрудились малые, —  
   замри  
   и ляг!

Партия —  
   рука миллионнопалая,  
 сжатая  
   в один  
   громающий кулак.

Единица — вздор,  
   единица — ноль,  
 один —  
   даже если  
   очень важный —  
 не подымет простое  
   пятивершковое бревно,  
 тем более  
   дом пятиэтажный.

Партия —  
   это  
   миллионов плечи,  
 друг к другу  
   прижатые туго.

Партией  
   стройки  
   в небо взмечем,  
 держа  
   и вздымая друг друга.

Партия —  
   спинной хребёт рабочего класса.

Партия —  
   бессмертие нашего дела.

Партия — единственное,  
   что мне не изменит.

Сегодня приказчик,  
   а завтра  
   царства стираю в карте я!

Мозг класса,  
дело класса,  
сила класса,  
слава класса —  
вот что такое партия.

Партия и Ленин  
близнецы-братья, —  
кто более  
матери-истории ценен?  
Мы говорим — Ленин,  
подразумеваем —  
партия.

Мы говорим —  
партия,  
подразумеваем — Ленин.

Ещё  
горой  
коронованные главы  
и буржуи  
чернеют,  
как вороны в зиме,  
но уже  
горение  
рабочей лавы  
по кратеру партии  
рвётся из-под земель.

Девятое января.  
Конец гапонщины.

Падаем,  
царским свинцом косимы.  
Бредня  
о милости царской  
прикончена  
с бойней Мукденской,  
с треском Цусимы.

Довольно!  
Не верим  
разговорам посторонним!

Сами  
с оружием  
встали пресненцы.

Казалось —  
сейчас  
покончим с тронем,  
за ним  
и буржуево  
кресло треснетя.  
Ильич уже здесь —  
он изо дня на день  
проводит  
с рабочими  
пятый год.  
Он рядом  
на каждой стоит баррикаде,  
ведёт  
всего восстания ход.  
Но скоро  
прошла  
лукавая вестийка —  
«свобода». Бантики люди надели,  
царь  
на балкон  
выходил с манифестиком.  
А после  
«свободной»  
медовой недели  
речи,  
банты  
и пения плавные  
пушечный рёв  
покрывает басом:  
по крови рабочей  
пустился в плаванье  
царёв адмирал  
каратель Дубасов.  
Плюнем в лицо  
той белой слякоти,  
сюсюкающей  
о зверствах Чекà!  
Смотрите,  
как здесь,  
связавши за локти,  
рабочих на смерть  
секли по щекам.

Зверела реакция.  
Интеллигентчики  
ушли от всего  
и всё изгадили.  
Заперлись дома,  
достали свечи,  
ладан курят —  
богоискатели.  
Сам заскулил  
товарищ Плеханов:  
— Ваша вина!  
напутали, братцы!  
Вот и пустили  
крови лохани!  
Нечего  
зря  
за оружие браться. —  
Ленин  
в этот скулѣж недужный  
врезал голос  
бодрый и зычный:  
— Нет,  
за оружие браться нужно,  
только более  
решительно и энергично.  
Новых восстаний вижу день я.  
Снова подыметя  
рабочий класс.  
Не защита —  
нападение  
стать должно  
лозунгом масс. —  
И этот год  
в кровавой пене  
и эти раны  
в рабочем стане  
покажутся школой  
первой ступени  
в грозе и буре  
грядущих восстаний.  
И Ленин  
снова  
в своём изгнании,

готовит  
           нас  
                     перед новой битвой.  
 Он учит  
           и сам вбирает знания,  
 он партию  
           вновь  
                     собирает разбитую.  
 Смотри —  
           забастовки  
                                     вздымают год,  
 ещё — и к восстанью сумеешь  
   сдвинуться ты.  
 Но вот  
 из лет  
           подымается  
                                     страшный четырнадцатый.  
 ...Империализм  
           во всём оголении —  
 живот наружу,  
           с вставными зубами,  
 и море крови  
           ему по колени —  
 сжирает страны,  
           вздымая штыками.  
 Вокруг него  
           его подхалимы —  
 патриоты —  
           приспособились Бовы —  
 пишут,  
           руки предавшие вымыв:  
 — Рабочий,  
           дерись  
                                     до последней крови! —  
 Земля —  
           горой  
                                     железного лома,  
 а в ней  
           человечья рвань и рваль.  
 Среди  
           всего сумасшедшего дома  
 трезвый  
           встал  
                                     один Циммервальд.

Отсюда  
Ленин  
с горсточкой товарищей  
встал над миром  
и поднял над  
мысли  
ярче  
всякого пожараща,  
голос  
громче  
всех канонад.

Оттуда —  
миллионы  
канонадою в уши,  
стотысячесабельной  
конницы бег,  
отсюда,  
против  
и сабель и пушек, —  
скуластый  
и лысый  
один человек.

— Солдаты!  
Буржуи,  
предав и предав,  
к туркам шлют  
за Верден,  
на Двину.

Довольно!  
Превратим  
войну народов  
в гражданскую войну!  
Довольно  
разгромов,  
смертей и ран, —  
у наций  
нет  
никакой вины.

Против  
буржуазии всех стран  
подыдем  
зная  
гражданской войны! —

Думалось:  
                                сразу  
  пушка-печка  
чихнёт огнём  
  и сдунет гнилью —  
потом поди,  
  ищи человечка,  
поди,  
                                вспоминай его фамилию.  
Глоткой орудий, шипевших и вывших,  
друг другу  
                                страны орут:  
  — На колени!

Додрались,  
                                и вот  
  никаких победивших, —  
один победил  
  товарищ Ленин!  
Империализма прорва!  
Мы  
                                истожили  
  терпенье ангельское.

Ты  
                                восставшею  
  Россией прорвана  
от Тавриза  
  и до Архангельска.  
Империя —  
  это тебе не кúра!  
Клювастый орёл  
  с двухглавою властью,

А мы,  
                                как докуренный окурок,  
просто  
                                сплюнули  
  их династью.

Огромный,  
  покрытый кровавой ржою,  
народ,  
                                голодный и голоштаный,  
к Советам пойдёт,  
  или будет  
  буржую

таскать,  
                    как и встарь,  
                                    из огня каштаны?  
— Народ  
                    разорвал  
                                    оковы царьи.  
Россия в буре,  
                    Россия в грозе, —  
читал  
                    Владимир Ильич  
                                    в Швейцарии,  
дрожа,  
                    волнуясь  
                                    над кипой газет.  
Но что  
                    по газетным узнаешь ключьям?  
На аэроплане  
                    прорваться б ввысь,  
туда,  
                    на помощь  
                                    к восставшим рабочим —  
одно желанье,  
                    единая мысль.  
Поехал,  
                    покорный партийной воле,  
в немецком вагоне,  
                    немецкая пломба.  
О, если бы знал  
                    тогда Гогенцоллерн,  
что Ленин  
                    и в их монархию бомба!

Питерцы  
                    всё ещё,  
                                    всем на радость,  
лобзались,  
                    скакали детишками малыми,  
но в красной ленточке,  
                    слегка припарадясь,  
Невский  
                    уже  
                                    кишел генералами.  
За шагом шаг —  
                    и дойдут до точки,

дойдут и до полицейского свиста.  
Уже начинают казать коготочки  
буржуи из лапок своих пушистых.  
Сначала мелочь — вроде мальков.  
Потом повзрослее — от шпротов  
до килечек.  
Потом Дарданельский,  
за ним в девичестве Милюков,  
с коронацией прёт Михайльчик.  
Премьер — не власть —  
вышивание гладью!  
Это тебе не грубый нарком.  
Прямо девушка — иди и гладь её!  
Истерики закатывает, поёт тенорком.  
Ещё не попало нам и росинки  
от этих самых февральских свобод,  
а у оборонцев уже хворостинки —  
«Марш, марш на фронт, рабочий народ».  
И в довершение пейзажа славенького,  
нас предававшие и до  
и потём,  
вокруг сторожами эсэры да Савинковы,



Впервые  
     перед толпой обалделой,  
 здесь же,  
     перед тобою,  
                     близ,  
 встало,  
     как простое  
                     делаемое дело,  
 недостижимое слово —  
                     «социализм».  
 Здесь же,  
     из-за заводов гудящих,  
 сияя горизонтом  
     во весь свод,  
 встала  
     завтрашняя  
                     коммуна трудящихся —  
 без буржуев,  
     без пролетариев,  
                     без рабов и господ.  
 На толщ  
     окрутивших  
                     соглашательских верёвок  
 слова Ильича  
     ударами топора.  
 И речь  
     прерывало  
                     обвалами рёва:  
 «Правильно, Ленин!  
                     Верно!  
                     Пора!»  
 Дом  
     Кшесинской,  
                     за дрыгоножество  
 подаренный,  
     нынче —  
                     рабочая блузница.  
 Сюда течёт  
     фабричное множество,  
 здесь  
     закаляется  
                     в ленинской кузнице,  
 «Ешь ананасы,  
     рябчиков жуй,



падают,  
сейчас же  
дело растя,  
и рядом  
уже  
с плечом рабочего  
плечи  
миллионов крестьян.  
И когда  
осталось  
на баррикады выйти,  
день  
наметив  
в ряду недель,  
Ленин  
сам  
явился в Питер:  
— Товарищи,  
довольно тянуть канитель! —  
Гнёт капитала,  
голод — уродина,  
войн бандитизм,  
интервенция вёрья, —  
будет! —  
покажутся  
белее родинок  
на теле бабушки,  
древней истории.  
И оттуда  
на дни  
оглядываясь эти,  
голову  
Ленина  
взвидишь сперва.  
Это  
от рабства  
десяти тысячелетий  
к векам  
коммуны  
сияющий перевал.  
Пройдут  
года  
сегодняшних тягот,



Направо  
         третья,  
                 он  
                         там.  
 — Товарищи,  
                         не останавливаться!  
   Чего стали?

В броневики  
                         и на почтайт! —

— Есть! —  
                         повернулся  
   и скрылся скоро,

И только  
                 на ленте  
                                 у флотского  
   блеснуло — «Аврора»  
   под лампой.

Кто мчит с приказом,  
                                 кто в куче спорящих,  
 кто щёлкал  
                         затвором  
   на левом колене.

Сюда,  
         с того конца коридорища,  
 бочком  
         пошёл  
                         незаметный Ленин.

Уже  
         Ильичём  
                         поведённые в битвы,  
 ещё  
         не зная  
                         его по портретам,  
 толкались,  
                 орали,  
                         острее бритвы  
 солдаты друг друга  
                                 крыли при этом.

И в этой желанной  
                                 железной буре  
 Ильич,  
         как будто  
                         даже заспанный,

шагал,  
     становился  
                                 и глаз, сощурия,  
 вонзал,  
     заложивши  
                                 руки за спину.  
 В какого-то парня,  
                                 в обмотках,  
   лохматого,  
 уоставил  
     без промаха бьющий глаз,  
 как будто  
     сердце  
                                 с-под слов выматывал,  
 как будто душу  
                                 тащил из-под фраз.  
 И знал я,  
     что всё  
                                 раскрыто и понято,  
 и этим  
     глазом  
 наверное выловится —  
 и крик крестьянский,  
                                 и вопли фронта,  
 и воля нобельца,  
                                 и воля путиловца.  
 Он  
     в черепе  
                                 сотней губерний ворочал,  
 людей  
     носил  
                                 до миллиардов полутора.  
 Он  
     взвешивал  
                                 мир  
                                 в течение ночи,  
 а утром:  
     — Всем!  
                                 Всем!  
                                 Всем это —  
 фронтам,  
     кровью пьяным,  
 рабам  
     всякого рода,



ДЖАМБУЛ  
ПЕСНЯ О КЛЯТВЕ

Мы помним день, печальный день меж днями,  
Как слёзы, с неба падал чистый снег.  
В большой стране, засыпанной снегами,  
Скончался самый мудрый человек.

В степях широких бушевала вьюга,  
Росли сугробы, и трещал мороз.  
В Москве,  
Прощаясь с гением и другом,  
Великий Сталин клятву произнёс.

И видим мы, свидетели живые,  
Что эта клятва верная жива.  
И стали делом мудрые, простые,  
Вошедшие в историю слова.

Жизнь расцвела в полях, в заводах, в шахтах,  
Как плодоносный, полный солнца сад.  
И день и ночь в дозорах и на вахтах  
Бойцы счастливой родины стоят.

Ведёт страну к победам светлый Сталин.  
Вокруг него сплотился весь народ.  
Как клялся он — ему мы клятву дали,  
Мы в нём, любимом, Ленина узнали.  
Великий Ленин в Сталине живёт!

Н. ТИХОНОВ

В ТЕ ДНИ

Пятнадцать лет тому назад,  
Под самый лютый вой метели,  
Навек закрылись те глаза,  
Что сквозь грядущее глядели.

И солнца бледного зенит  
Казался над вечерней мглою,  
Лишь было слышно, как звенит  
Мороз над скованной землёю.

Казалось, жизни больше нет,  
Печаль над всем крыло простёрла,  
И слёзы, словно в полусне,  
Неслышно подступают к горлу.

И в ожиданьи все сердца  
Как будто биться перестали,  
И клятвой, верной до конца,  
За целый мир ответил Сталин.

И словно неба синева  
Зажглась опять по всей отчизне,  
И были клятвы той слова —  
Как продолженье нашей жизни.

А. ПРОКОФЬЕВ  
ТРИ ПОКОЛЕНИЯ

Тысяча в рядах, и каждый дорог  
По-особому не только нам.  
Вот идут товарищи, которых  
Ленин называл по именам.

Их сжимали, комкали и гнули  
Ветер и вода, огонь и твердь; —  
Гвардию, прошедшую сквозь бури,  
Через плен централов, через смерть.

Дальше речь пойдёт о переправах,  
Об отрядах в грохоте, в дыму,  
И предоставляется по праву  
Слово поколенью моему.

Тут, величья класса не унизив,  
Через смерть шагнувшие горой,  
Комиссары армий и дивизий  
Воинский выравнивают строй.

А за нами, не окинуть глазом,  
Тоже под порядком боевым  
Молодость, которая ни разу  
Не видала Ленина живым.

Тысячи в рядах. И каждый дорог  
По-особому не только нам.  
Впереди товарищи, которых  
Ленин называл по именам.

М. АЛИГЕР  
НАШ ЛЕНИН

Я хочу тебе поведать, друг,  
Думку заповедную мою.  
Стоит оглянуться мне вокруг,  
Ленина во всём я узнаю.

Кажется мне, будто слышу сам  
Лёгкую походку Ильича:  
Это он по новым городам  
Проверяет кладку кирпича.

Кажется мне, будто вижу сам:  
По дороге, солнцем залитой,  
Он проходит по полям,  
Проверяя колос налитой.

Мы высоко голову несём, —  
В будущее вера горяча, —  
Потому что всюду и во всём  
Чувствуем живого Ильича!

Нам светло и радостно идти  
По дороге ленинской вперёд,  
По тому великому пути  
Неуклонно Сталин нас ведёт.

Н. ЗАРЬЯН

ЛЕНИН

Нет! Ты живёшь, ты рядом, вождь.  
Ты — солнце в блеске синева.  
Твой гений, разум твой, и мощь,  
И страсть не могут быть мертвы.

Ты рядом с нами в дни труда  
И в дни тревоги боевой.  
Ты строишь наши города,  
Нам путь указываешь свой.

Ты не погиб и не погас.  
Ты — молодость у нас в крови,  
Ты — пламя ненависти в нас,  
Зов побеждающей любви.

Ты вновь торопишь молодёжь  
Встать на посту, сойти в рудник.  
В колоннах шествий ты идёшь,  
Сверкаешь на страницах книг.

Ты в разных жизнях, там и тут,  
Жив, от Мадрида до Кремля,  
Берлин и Токио прочтут,  
Как Лениным полна земля.

Как имя Ленина зовёт  
Стрелков Астурии на бой,  
Как каждый новый наш завод  
И каждый цех сильны тобой.

Ты — наша родина, наш кров,  
Ты — наше светлое жильё.  
Вверху, в снопах прожекторов,  
Читаем слово мы твоё.

Ты в каждой песне детворы,  
Ты в каждом стебле наших нив,  
Ты к нам приходишь на пиры,  
Свою улыбку сохранив.

Твой светлый разум не погас.  
Он в слове Сталина горит.  
В законах сталинских для нас  
Он каждой буквой говорит.

Ты — нескончаемая жизнь.  
Ты — гул истории людской.  
Ты с древних снеговых крутизн  
Мчишь полноводною рекой.

Пока река бурлит и бьёт,  
Пока в ней не иссякнет мощь,  
Пока история идёт,—  
Ты будешь рядом с нами, вожди!

С. ВУРГУН

СЛОВО О ДЕПУТАТКЕ — КОЛХОЗНИЦЕ БАСТИ

*Отрывок из поэмы*

Это Ленин, учитель, мудрец, герой,  
Был для нас огневой зарёй!  
Нашим женщинам Ленин сказал: «Смелей  
Выходите на вольный свет!  
Где свободных и сильных нет матерей,  
Там свободной родины нет...»  
И блистали молнии этих слов,  
И в сердцах расцветал восторг.  
Тьма и тяжесть упали с людских голов,  
Чистый свет озарил Восток..  
Перестала ты, женщина, быть рабой,  
Бессловесной, глухой, тупой..  
И сожгла ты коран — стариковский бред,  
Шариата теперь нет!  
Был мулла, как лесная сова в ночи, —  
Не пугает теперь он;  
Не таскают за косы тебя кочи,  
Охраняет тебя закон.  
Стал свободным и громким голос твой  
На всех языках страны,  
Ты проходишь с поднятой головой,  
И шаги широки, верны!  
Как боец Красной Армии, ты всегда  
На суровых постах труда.  
Ты готова в аулах учить детей,  
Ткать богатый узор ковров,  
Делать шёлк и в больницах лечить людей,  
Сеять хлопок, доить коров.  
Трудовым и творящим рукам хвала!  
Все нужны на земле дела.  
Это Ленин сказал нам, что жизнь полна,  
Это он научил понимать,  
Что свободна и счастлива та страна,  
Где свободна и счастлива мать!

## СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ

### ДАГЕСТАН

*Отрывок из поэмы*

Мысль, словно море, глубока.  
Он — мозг и руки бедняка.  
Мир видящий издалека, —  
Сильней всех сильных, Дагестан.

Для нас среди крутых громад  
Рабочими выращенный сад,  
Приятный сердцу аромат, —  
Яйлаг<sup>1</sup> цветущий, Дагестан.

На ветер слов не бросит он,  
Он правдой нашею силён.  
Над целым миром вознесён  
Утёс высокий, Дагестан.

Он тучи чёрные рассёк,  
Дал бедным счастье в малый срок,  
Он землякам моим помог  
Прозреть и видеть, Дагестан.

Веков грядущих следопыт,  
Везде любим и знаменит,  
Весь мир глазам его открыт,  
Он зорко смотрит, Дагестан.

Вот образ — ярче вешних роз.  
В суровый год военных гроз  
Товарищ Сталин нам привёз  
Подарок красный, Дагестан.

---

<sup>1</sup> Яйлаг — летнее пастбище.

В краю ущелий и долин  
Раскрыл он свой большой хурджин.  
Дал Ленин горцам дар один —  
Ты стал советским, Дагестан.

Шёл девятьсот двадцатый год.  
На сходку Сталин звал народ.  
Советских дней победных ход  
Он разъяснил нам, Дагестан.

Муллы и бека злобный пыл  
Он сильным словом охладил.  
Болезни бедных исцелил.  
Вернул нас к жизни, Дагестан.

Большую силу Сталин дал  
Народам горским, Дагестан,  
В ущельях наших диких скал  
Гудят заводы, Дагестан.

К снегам заоблачных высот  
Автомобильный путь ведёт.  
Мостов железный переплёт  
Сковал потоки, Дагестан.

Окинь глазами всё вокруг.  
Нам Сталин всем помог, как друг:  
Машины — цеху, полю — плуг  
Он дал для счастья, Дагестан.

.....

Вождь Ленин, покидая свет,  
Давал заветы, Дагестан.  
Дал Сталин клятвенный обет  
Исполнить волю, Дагестан.

Весть накатила, как волна.  
Глухой тоской потрясена,  
Оделась в траур вся страна  
В знак тяжкой скорби, Дагестан.

Заветам Ленина верны  
Великих дел его сыны.  
Победной поступью страны  
Их утверждают, Дагестан.

Тебя, Ильич, с живыми нет,  
Но партия хранит завет,  
Она идёт путём побед  
К социализму, Дагестан.

Со всей страной труды деля,  
Великий Сталин у руля  
Курс ленинского корабля  
Надёжно держит, Дагестан.

.....

Стреножен бешеный верблюд,  
Что пил наш пот, что жрал наш труд.  
Пусть путь бойцов отважных крут,  
Ведёт к победам бедный люд  
Вождь мудрый Сталин, Дагестан.

У Сулеймана свой закон:  
Пустых стихов фальшивый звон  
Всем сердцем ненавидит он.  
Проклятый строй былых времён  
Он не воспел бы, Дагестан...

## ДОРОЖЕНЬКА

*Русская песня*

В чистом полюшке дороженька видна,  
Вся проторена до жёлтого песка.  
Жизнь хорошая, как солнышко, ясна —  
Не вернутся к нам ни горе, ни тоска.  
По-над речкой расстилается туман,  
Росы чистые упали на траву,  
Я надену свой бордовый сарафан,  
Я малины — красной ягоды — нарву.  
Молодая да весёлая пройдусь.  
Не вернутся к нам ни горе, ни беда.  
Я своей работой-славою горжусь:  
Я ударница колхозного труда.  
В чистом полюшке дороженька легла  
Словно светлая большая полоса.  
Рассветлым-светла дороженька, светла,  
И ведёт она к победам-чудесам.  
Кто колхозную дорогу проложил,  
Кто колхозную дорогу проторил?  
Это Ленин нам дорожку проложил,  
Это Сталин нам дорожку проторил.  
Мы на светлой на дороженьке стоим.  
Мы за счастье и за жизнь благодарим.  
Словно зелень после первого дождя,  
Мы растём и продвигаемся вперёд.  
И за это для великого вождя  
Наша слава, наши песни, наш почёт.

**РУССКИЕ ЧАСТУШКИ  
О ЛЕНИНЕ И СТАЛИНЕ**

Куплю Ленина портрет,  
Золотую рамочку.  
Вывел он меня на свет,  
Тёмную крестьяночку.

С неба звёздочка упала  
В колосистые поля.  
С нами Ленина не стало,  
Стойкий Сталин у руля.

Приходи, весна красна,  
Времечко весеннее.  
Сталин партию ведёт  
По заветам Ленина.

По заветам Ленина,  
По заветам Сталина  
Мы построили колхоз —  
Верный путь крестьянина.

## СОКОЛЫ

*Украинская песня*

На дубу зелёном,  
Да над тем простором,  
Два сокола ясных  
Вели разговоры.

А соколов этих  
Люди все узнали:  
Первый сокол — Ленин,  
Второй сокол — Сталин.

Первый сокол — Ленин,  
Второй сокол — Сталин,  
А кругом летали  
Соколята стаей.

Ой, как первый сокол  
Со вторым прощался,  
Он с предсмертным словом  
К другу обращался:

«Сокол ты мой сизый,  
Час пришёл расстаться,  
Все труды-заботы  
На тебя ложатся».

А другой ответил:  
«Позабудь тревоги,  
Мы тебе клянёмся:  
Не свернём с дороги».

И сдержал он клятву,  
Клятву боевую:  
Сделал он счастливой  
Всю страну родную.

## ЛЕНИНСКАЯ ПРАВДА

*Белорусская сказка*

Жили в деревне два брата. Поле пахали, землю слезами поливали, горбы себе наживали. Хлеб и скотину у них паны забирали, а платили за это кулаками в спину.

Маялись братья не год и не два, а неизвестно сколько. И другие мужики вокруг жили не лучше братьев.

Надоело братьям работать на чужое здоровье. Решили они отправиться по России-матушке искать правду. Пошли. Идут месяц, идут год. Видят: стоит большое село. Посреди села — панский дом и рядом — церковь каменная.

«Дай, — думают братья, — зайдём сюда, спросим, где правда живёт».

Идут они по деревне, а навстречу им пан в коляске едет.

— Чьи вы, мужички, откуда идёте и чего ищете? — спрашивает их пан.

Отвечают ему братья:

— Жили мы в нищете, в горе, больше сил не хватает так жить. Идём правду искать. Научи нас, пан, где её найти.

— Хорошо, — говорит пан, — покажу я вам правду, если пожелаете, только вы мне год поработайте за это.

Согласились братья.

Работали они, работали: поле пахали, землю слезами поливали. Прошёл год. Приходят они к пану и говорят:

— Научи же нас, пан, как нам правду найти.

— Ну, вот вам и правда, — отвечает им пан, — голь вы немытая, работать вам всегда на нас, панов! Плюнули братья и пошли дальше.

Идут месяц, идут год. В село пришли. Поп идёт навстречу. Братья к нему:

— Научи, отец, где правду найти.

— Хорошо, — говорит поп, — я вам правду у царя небесного вымолю, а вы у меня год за это поработайте.

Согласились братья. Работали они, работали: пашню попу пахали, слезами землю поливали. Прошёл год. Пришли братья к попу, а он им говорит:

— Работайте хорошо, бога не гневите, — вот ваша правда!

Плюнули братья, пошли дальше.

Приходят они к купцу. Вышел он, богатый, толстый, толще пана и попа.

— Хорошо, — говорит купец, — научу я вас, где правду найти, только поработайте вы год на меня.

Согласились братья. Стали они на купца работать, горбы наживать. Учил их купец, как честной народ обманывать, бедноту обмеривать. Не прошло ещё и года, как младший брат говорит:

— Не пойду я больше правду искать! Нет её на свете — правды мужицкой!

И вернулся он в свою деревню. А старший брат настоящий, — не хотел без правды домой возвращаться. Пошёл один к фабриканту.

Фабрикант и пана, и попа, и купца богаче. Начал старший брат работать у него; а на фабрике много людей работает.

Работали они много лет. Горбы наживали, а правды не видали. Раз услышал брат тихую беседу:

— Есть только один человек, который правду знает. Зовут этого человека Ленин, а живёт он в Питере.

Запомнил брат имя и пошёл искать этого человека.

Шёл много дней, а может быть, и месяцев. Пришёл в Питер. Видит: идёт рабочий. Он его спросил тихонько:

— Где здесь Ленина найти?

А тот ему ещё тише:

— Пойдём за мной, я тебя доведу.

Вот пришли они в обыкновенную комнату. Кругом разных книг много. Вышел к ним человек, — одет не богато, но чисто. Вышел и ласково говорит:

— Здравствуйте, товарищи, что скажете хорошего?

Рассказал ему брат, как он правду искал. Долго с ними говорил Ленин о порядках на фабрике, о деревенской бедноте, расспрашивал, а потом сказал:

— Правильно ты сделал, что на фабрику пошёл правду искать, там скорее узнаешь, где она есть. Вы её в руках своих держите.

И рассказал Ленин брату, как надо за рабочую правду бороться, чтобы не служить ни панам, ни купцам, ни фабрикантам, и как выгнать их вместе с царём.

Вернулся брат на фабрику и начал товарищам ленинскую правду рассказывать. Один рассказывает — десять слушают, десять рассказывают — сто слушают. И пошла ленинская правда по всему свету.

Много лет ходила она по фабрикам и деревням. Поднимала рабочих и крестьян на борьбу. А в октябре семнадцатого года объявилась эта правда, заговорила громким голосом, на весь мир загудела. Пошли рабочие и крестьяне войной на помещиков и фабрикантов. А повёл их сам Ленин со своим лучшим помощником — Сталиным. И взяла верх ленинская правда.

С тех пор рабочие и крестьяне не работают больше на панов и фабрикантов, горбов не наживают, землю слезами не поливают, — сами хозяева своих фабрик, своей земли и жизни своей.

*Записано в деревне Зломное, Жлобинского района, Белорусской ССР*



Великолепен, молод, могуч и умён  
Был Искандер, но его сердце  
Было так жестоко, дико и любило разрушение,  
Как сердце дикого Чингиз-хана...

Могуч и славен в мире богатырь Али,  
А прославился он тоже огнём и кровью —  
Он убивал сразу по сто человек,  
И поэтому мир запомнил его имя.  
Недавно был Николай, царь русский,  
Он тоже будет долго жить в памяти людей —  
Он разрушал, убивал, сжигал  
И порабощал целые народы.  
Он жил в роскоши, в громадном каменном городе.  
Его генералы были одеты в золото,  
Но плеть была в их руках так же тяжела для людей,  
Как в руках палача...

Эти имена помнит земля,  
Но лучше бы было, если бы не помнила она их, —  
Она их помнит как проклятие и ужас...  
Только год, как умер ещё один человек,  
Живший там же, где Николай,  
И правивший теми же людьми, —  
Только год, как умер Ленин...  
Ленина будет помнить земля по-другому.  
Он снова посеял свет там, где Николай сделал мрак.  
Он смёл пепел с пустынь, обеспложненных Тамерланом,  
Он построил города, разрушенные Чингиз-ханом...

Воины: Тамерлан, Чингиз-хан, Искандер и Николай,  
Если видели свет — делали мрак,  
Если видели сад — делали пустыню,  
Если видели жизнь — делали смерть.  
Ленин, если видел мрак — делал свет,  
Из пустыни делал сад, из смерти — жизнь.  
И был он могучее всех этих воинов, соединённых в

одно,  
Потому что один в восемь лет построил, что они  
разрушали тысячу лет...

Пройдут ещё тысячи лет, и люди, не видя  
Пустынь и смерти, забудут о войнах;  
Но о Ленине до конца дней своих не забудет земля,  
Содрогаясь при воспоминании о крови,  
Течение которой остановил Ленин.

**ОН ВИДЕЛ  
НА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ВПЕРЁД**

*Азербайджанская песня*

Раз в сто лет рождается великий человек,  
И он, словно большая гора, виден всему миру;  
Но такого большого человека, как Ленин, мир ещё не  
видел.

Были великие люди у разных народов...  
Он же — велик для всего человечества.  
Его любит и знает каждый, кто трудится и не угнетает  
других.

Когда он родился, весь мир увидел его,  
Как солнце, поднимающееся с горизонта.  
Он знал, что нужно для счастья  
Каждого народа и как направить жизнь.  
Он не забыл даже о самом жалком бедняке и амбале.  
Он видел на тысячелетия вперёд.  
Он направил нас на новую жизненную дорогу к луч-  
шему будущему.  
Поэтому, когда он умирал, все люди знали об этом, так  
как птицы перестали петь и солнце затмилось.  
Его имя будет звенеть в песнях на протяжении тыся-  
челетий...

ДЖАМБУЛ  
ЛЕНИН И СТАЛИН

До смерти Джамбул не забудет тех дней,  
Когда он на поезде мчал по стране  
И мимо куда-то летела земля,  
Мелькали сады, проплывали поля...  
Шумела травую батырская ширь,  
Неслись облака — на Алтай, на Сибирь.  
Пугливые чибисы с криком вились  
Над жёлтой и быстрой рекою Арысь.  
Над рисовым полем пылали лучи  
В горячих просторных степях Кармакчи.  
Катил на пески свой разгневанный вал  
Вскипающий пеной зелёный Арал.  
Пасла табуны и растила хлеба  
Красавица наших степей Актюба.  
Потом засверкал восхищением взор —  
Впервые увидел я волжский простор;  
Катила могучие воды река,  
И чайка кружилась, бела и легка.  
Какая страна! Сколько светлых чудес  
Под юртой высоких советских небес!  
Я ехал, волнуясь. Я знал, что близка  
Мечта моей жизни — столица Москва.  
И вот она встала, мечты золотей —  
Во всей лучезарной своей красоте!  
Услышал я шум изумрудных садов,  
Увидел я блеск бирюзовых прудов,  
Дворцы и палаты, метро под землёй,  
Большие фонтаны воды голубой...  
Я думал: здесь Ленин когда-то ходил  
В расцвете своих титанических сил...  
Посланец далёких казахских степей,  
Пошёл я туда, где стоит мавзолей,  
Где светят, восторгом сердца опаяя,  
Горящие золотом звёзды Кремля.  
Стоит мавзолей в самом центре земли.  
Народы, как реки, к нему потекли.

Идут — и таджик, и ойрот, и казах  
С любовью в сердцах и с печалью в глазах.  
Афганец, иранец идут, и араб —  
Как дети к отцу и как войны в штаб.  
И я вместе с ними, волнуясь, вхожу,  
Глаза поднимаю и жадно гляжу —  
И вижу: в гробу он лежит, как живой,  
Спокойный и мудрый, простой и родной;  
Знамёна склонились с любовью над ним,  
Проходят народы, а он недвижим,  
Не слышит, как я ему, сгорблен и сед,  
Шепчу по-казахски сыновний привет  
И клятву шепчу ему — ленинцем быть,  
По-ленински думать, бороться и жить,  
И детям, и внукам, и правнукам — всем  
Поведать и в песнях и в строфах поэм,  
Что Ленин, как солнце, планету живит,  
Что в Сталине ленинский гений горит.  
Я самый счастливый певец на земле —  
Я Сталина видел в московском Кремле.  
Я рядом с вождём всех народов стоял  
И крепко могучую руку пожал, —  
Ту руку, которая твёрдо ведёт  
Два десятилетия вперёд и вперёд  
В сиянье счастливых и солнечных дней  
Сто семьдесят пять миллионов людей.  
Он разумом выше Памира и звёзд  
И к людям внимателен, ласков и прост,  
Он мощью своей превосходит Арал,  
И каждый бедняк в нём отца увидал.  
Как солнце, он ясен, высок и могуч,  
И греет народы теплом его луч.  
Он, как океан, необъятно велик...  
Обидно Джамбулу, что беден язык,  
Бессильны слова, чтобы гимн прогреметь,  
Чтоб сталинский гений достойно воспеть.  
Я в степи пойду, когда солнце встаёт,  
Из юрт позову я колхозный народ.  
И грянем мы песню, и будет нам в лад  
Греть ниспадающий с гор водопад,  
Трава шелестеть, и журчать родники,  
И тихо по ветру шуметь тростники.  
И даже на самой далёкой звезде  
Слышна будет песнь о великом вожде.

Я. КУПАЛА

СЛАВЛЮ Я ПАРТИЮ ЛЕНИНА — СТАЛИНА

Партии нашей спасибо сердечное,  
Слава великому, мудрому Сталину,  
Снявшим с народа ярмо вековечное,  
Счастье создавшим на мрачных развалинах!

Кто Белоруссию, тёмную, бедную,  
Вызволил, сделал страной равноправною,  
Кто её вывел дорогой победною  
Об руку с солнцем на поприще славное!

Солнце вошло над равнинами грустными,  
В жизнь воплотилась мечта человечества;  
Вольные люди, как пчёлы, безустали  
Множат и силу и славу отечества!

Жизнь наша бьёт животворной криницею,  
Песни напевами льются весёлыми,  
Вольная воля летает орлицею,  
Радость сдружилась с цветущими сёлами.

Счастье страны, что трудами мы создали,  
Кажется людям волшебною сказкою,  
Жить хорошо под кремлёвскими звёздами,  
Сталин нас греет заботой и ласкою.

Славлю я партию Ленина — Сталина!..  
Сгнуло прошлое с мраком и с бедами.  
К солнцу идём мы по светлым прогалинам,  
Мир удивляя своими победами.

Горд я вручённым мне орденом Ленина,  
Званьем высоким поэта народного,  
Счастлив я тем, что высоко оценена  
Сталинской премией песня свободная!

М. РЫЛЬСКИЙ  
ПОРТРЕТ ЛЕНИНА

Его портрет — в селянской хате скромной,  
Его портрет — в землянке у бойца, —  
Портрет того, кто волею огромной  
Соединил народные сердца.

Его портрет, который наши дети  
Цветами любят нежно украшать, —  
Портрет того, кто в глубине столетий,  
Как солнце, землю будет озарять.

Когда враги грозят нам чёрным ядом,  
Мы, как святыню всех святынь, храним  
Его портрет, всегда висящий рядом  
С другим портретом, — как и тот, родным.

А. СУРКОВ

ЛЕНИН

Где на еловых ветвях стынет иней,  
Где снег лежит морскою далью синей  
В эпическом безмолвии полей,  
Среди большого города святыней  
Народ воздвиг гранитный мавзолей.

Под каменной своей прохладной сенью,  
Послушный всенародному веленью,  
Багровый полированный гранит,  
Наперекор безжалостному тленью,  
Нетленный прах бессмертного хранит.

Стихает гром московского трамвая,  
Звенят куранты, полночь отбивая,  
Яснеют блики лунного луча.  
И красный флаг, как песня боевая,  
Шумит над мавзолеем Ильича.

Среди пластов глубокого забоя,  
На поле смерти, в грозном громе боя,  
В полёте, устремлённом в высоту,  
Скорбя, ликуя, побеждая, строя,  
Мы к Ленину стремим своєю мечту.

Всё воплотилось в этом человеке —  
Леса, озёра, северные реки,  
Безмерные просторами поля.  
Со дня его рождения — навеки  
Бессмертной стала русская земля.

М. РЫЛЬСКИЙ  
ЛЕНИН С НАМИ

Когда рождался новый мир, во прах  
Повергнув старый, — мы в те дни как знамя  
Несли в боях, страданиях и трудах  
Слова простые: мудрый Ленин с нами.

Когда наш день стоцветно засверкал,  
Зацвёл неугасимыми огнями, —  
От гор Кавказа и до финских скал  
Слова простые: мудрый Ленин с нами.

Когда, могучий окрылив народ  
В борьбе священной с чёрными врагами,  
Великий Сталин нас на бой зовёт, —  
Мы говорим: великий Ленин с нами.

А. СУРКОВ

**ЖИВАЯ ДУША ИЛЬИЧА**

Октябрьское гордое знамя  
Шумит в январе над Москвой...  
Ты в скорби и радости с нами,  
Наш Ленин, бессмертный, живой.

Заветные наши стремленья  
Ты мыслью своей открылил;  
Сердца моего поколенья,  
Как сталь, на огне закалил...

Идущим сквозь грозное время  
По силам любые дела.  
Посеяно доброе семя,  
И жатва обильной была.

Великие грозы пытали  
Детей обновлённой земли.  
Но, твёрже гранита и стали,  
Мы все испытанья прошли.

Приняв непомерные муки,  
Мы молоды сердцем, сильны.  
В надёжные, крепкие руки  
Ты передал судьбы страны.

Под ленинским знаменем алым  
Идём мы в ночи штормовой,  
Бессменно стоит за штурвалом  
На вахте твой друг боевой.

И ночь перед ним отступает,  
И в бурях, отринув покой,  
Он ход корабля направляет  
Уверенной, сильной рукой.

И сила твоя и порода  
В делах его славных видны,  
Он воля и разум народа,  
Оплот и надежда страны.

Идёт он вразрез непогодам.  
Земля под ногой горяча.  
Из глаз его светит народам  
Живая душа Ильича.

И. СЕЛЬВИНСКИЙ  
БАЛЛАДА О ЛЕНИНИЗМЕ

В скверике на море,  
Там, где вокзал,  
Бронзой на мраморе  
Ленин стоял.  
Был он средь жителей  
Этих долин  
Самый общительный  
Гражданин.  
Вытянув правую  
Руку вперёд,  
Вёл он со славою  
Здешний народ.  
Даже неграмотных,  
Тёмных людей  
Звал этот памятник  
К высям идей.  
Массы, идущие  
К свету из тьмы,  
Знали: «Грядущее —  
это мы!»

Помнится сизое  
Утро в пыли.  
Вражьи дивизии  
С моря пришли.  
Черепом мечена,  
Как сама Смерть,  
Видит неметчина —  
В скверике медь.

Ловко сработано!  
Кто ж это тут?  
«Л е н и н».

Ах, вот оно...

Аб!

Гут.

Дико из цокола  
Высится шест.  
Грохнулся около  
Ленинский жест.  
Кони хвостатые  
Взяли в карьер.  
Нет

статуи.

Гол

сквер.

Кончено! Свержено!  
Далее — в круг  
Введен задержанный  
политрук.

Был он молоденький...

Смотрит мертво...

Штатский в котике

Выдал его.

Люди заохали...

(«Эх, маята!»)

Вот он на цоколе

Подле шеста;

Вот ему на плечи

Брошен канат,

Мыльные каплищи

Петлю кропят...

«Пусть покачается

На шесте.

Пусть он отчаётся

В красной звезде!

Всплачется, взмолится

Хоть на момент

Здесь, у околицы,

Где монумент,

Так, чтобы жители,

Ждущие тут,

Поняли! Видели!

Ауф!

Гут!»

Белым, как облако,

Стал политрук;

Вид его облика

Страшен.

Но вдруг

Он пред оравую

Вражеских рот

Вытянул правую

Руку вперёд —

И, как явление,

Бронзе вослед

Вырос

Ленина

Силуэт.

Этим движением

От плеча,

Милым видением

Ильича

Смертник молоденький

В этот миг

Кровною родинкой

К душам приник...

Будто о собственном

Сыне, навзрыд,

Бухтою об стену

Море гремит!

Плачет, волнуется,

Стонет народ —

Площадь, улица,

пляж,

грот...

Мигом у цоколя

Каски сверк!

Вот его, сокола,

Вздёрнули вверх;

Вот уж у сонного

Очи зашлись...

Всё же ладонь его

Тянется ввысь —

Бронзовой лепкою!

Назло зверью!  
Ясною, крепкою  
Верой в зарю!

Так над селением  
Взмыла рука  
Ставшего Лениным  
Политрука.

И. МОСАШВИЛИ  
ЛЕНИН НА БРОНЕВИКЕ

Ночь, но и ночью в сумрак внезапный  
Город Ленина блещет грозой,  
И над Невой дождливый запад  
Дымом окутал недавний бой.  
И разможила  
Чёрная сила  
О город череп змеиный свой.

Разве уснёт этот славный город!  
К бурям он с Октября привык,  
След их горит на знамёнах гордо,  
Бронзовый Ленин, бессмертен, велик,  
В блеске их алом  
Перед вокзалом  
К бою готовит свой броневик.

По ленинградским улицам едет  
Ленин и пламенной речью зовёт  
С броневика своего к победе  
Вооружённый могучий народ.

И, защищая родную землю,  
В бой смертельный бесстрашно идя,  
Город-герой взволнованно внемлет  
Речи любимого вождя...

Каждая пядь земли неприступна,  
Каждый рубеж закован в гранит,  
Враг рукою своею преступной  
Город Ленина не осквернит!

С. ЩИПАЧЁВ

Из бронзы Ленин... Тополя в пыли.  
Развалины сожжённого квартала,  
Враги в советский городок вошли  
И статую низвергли с пьедестала.

Полковник-щёголь был заметно рад,  
Что с памятником справился так скоро, —  
И щёлкал долго фотоаппарат  
Услужливого фоторепортёра.

Полковник ночью хвастал, выпивал,  
А на рассвете задрожал от страха:  
Как прежде, памятник в саду стоял,  
Незримой силой поднятый из праха.

Заторопились офицеры вдруг.  
Неясные вдали мелькали тени.  
То партизаны, замыкая круг,  
Шли на врага. И вёл их Ленин.

Н. ТИХОНОВ  
ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

То не чудо сверкает над нами,  
То не полюса блеск огневой, —  
То бессмертное Ленина знамя  
Пламенеет над старой Невой.

Ночь, как год девятнадцатый, плещет,  
Дней 'звенит ледяная кора.  
Точно вылезли древние вещи —  
И враги, и блокада, и мрак.

И над битвой смертельной и мгливой,  
Как тогда, среди крови и бед,  
Это знамя сверкает над чистым,  
Окрыляющим светом побед!

И ползущий в снегу с автоматом  
Истребитель — боец молодой —  
Озарён этим светом крылатым  
Над кровавою боя грядой.

Кочегар в духоте кочегарки  
И рабочий в морозных цехах  
Осенён этим знаменем ярким,  
Как моряк на своих кораблях.

И над каменной мглой Ленинграда,  
Сквозь завесы суровых забот,  
Это знамя сквозь бой и блокаду  
Великан-знаменосец несёт.

Это знамя — победа и сила —  
Ленинград от врага защитит.  
Победит и над вражьей могилой —  
Будет день! — на весь свет прошумит!

С. ВАСИЛЬЕВ  
УЛИЦА ЛЕНИНА

Вломились четыре немецких полка  
В украинский город советский  
И улицу Ленина, центр городка,  
На хмурых людей посмотрев свысока,  
Назвать приказали Немецкой.

— Так будет, — немецкий полковник сказал, —  
При нашем, германском режиме.  
Нас фюрер в Россию затем и послал,  
Чтоб новый порядок отныне здесь стал,  
Как в Праге, как в Вене, как в Риме.

Весь вечер пришлось подлецу малевать.  
Но утром случилось такое:  
Проснулись фашисты — не могут понять:  
«У л и ц а Л е н и н а» было опять  
Начертано твёрдой рукою.

От злобы завыл комендант-оккупант,  
На все нажимает педали.  
Приказ за приказом — ловить партизан!  
На улице Ленина пять горожан  
Без всяких улик расстреляли.

И снова в железной бадье развели  
Олифою белые краски,  
И снова с кистями мерзавцы прошли,  
И целую ночь напролёт патрули  
Ходили во тьме для острастки.

И вновь, как и прежде, рассвет наступал.  
И сызнова суриком красным  
«У л и ц а Л е н и н а» кто-то писал,  
Как будто из камня огонь высекал,  
Размашистым почерком властным.

И так повторялася изо дня в день  
История эта сначала.  
Не знали фашисты иных перемен:  
Стирали бессмертную надпись со стен,  
А надпись опять возникала.

Ни пытки, ни пули, ни ужас петли,  
Ни ярость угроз повсеместных  
Бесчинством своим утратить не могли  
Испытанных ленинцев русской земли,  
Отважных людей неизвестных.

Не могут фашисты виновных найти!  
Не могут ходить без оглядки,  
Разгневанный Ленин встаёт на пути,  
И вот начинается от страха трести  
Коричневых псов лихорадка.

Тогда палачи, чтоб поправить дела,  
Чтоб больше во сне не бояться,  
Всю улицу Ленина выжгли дотла,  
Чтоб больше уже по ночам не могла  
Крамольная надпись являться.

Сожгли подлецы и пришли посмотреть.  
Сгорели заборы и зданья,  
Но только ничем невозможно стереть,  
Не может на улице гордой сгореть  
Её грозное название.

На стенах, облизанных жадным огнём,  
На дымной, шерботой панели,  
Рождённые свежим, сухим кирпичом,  
На каждой железке, над каждым углом  
Недавние надписи рдели.

«У л и ц а Л е н и н а!» — рушась от мук,  
Чёрные стены кричали.

И снова окатывал немцев испуг,  
И снова враги озирались вокруг,  
И снова от страха молчали.

А залпы с Востока росли и росли,  
Грозами шума грозовыми.  
...Советские воины в город вошли,  
И встретило воинов русской земли  
Вождя негасимое имя.

С. ГОЛОВАНОВСКИЙ  
ПОДАРОК ОТ ЛЕНИНА

Это было у Днепра. В том благодатном краю есть непроходимые леса, сырые и сумрачные, вечно зелёные и таинственные. Они прислушиваются к звонкому журчанию холодных родников и стоят стройно и величественно, как армия.

Один из таких лесов был окружён немцами. Он содрогался от орудийных раскатов, трепетал всеми своими ветвями и после каждого удара рычал, как могучий, но раненый лев.

В лесу скрывались остатки знаменитой карпенковской роты, пробравшейся в немецкий тыл и натворившей немало неприятностей самодовольным пруссакам. Седьмой день они выдерживали осаду, не имея пищи и боеприпасов; все, без исключения, раненые, лежали они на траве, не надеясь ни на какое чудо. Немцы стояли кругом. По дорогам непрерывной цепью шли их бронированные колонны. Они могли покончить с девятью храбрецами легко, но продолжали бессмысленную осаду, будто перед ними была крепость, а не лес.

Долго ли собирались они тянуть эту напрасную волюнку?

В лес немцы итти боялись. Они расставили свои танки с трёх сторон, с четвёртой было бездонное, непроходимое болото-плавни, где комары могли съесть человека, где ночная сырость пробирала до костей, где болото погребало заживо.

Надежды на спасение у раненых не было. С простреленными руками Карпенко, как затравленный, рис-

кал по лесу. Он напрасно искал выхода из этой западни. Он видел и понимал это отчётливо, и очень жаль было ему молодых, истекающих кровью людей, так храбро дравшихся рядом с ним, но теперь обречённых, беспомощных.

И вот однажды, на рассвете, когда немцы перестали бить по лесу, совершенно убеждённые в том, что храбрецы умерли от голода и ран, вдали послышался равномерный, медленный хруст. Еле слышный вначале, он всё приближался и, наконец, стал явственным.

Конечно, это были шаги: это хрустели сухие ветки под ногами неосторожно идущего человека. Но кто мог итти оттуда, со стороны болота, где, казалось, никогда не ступала человеческая нога?! Чего мог искать человек в этом лесу, где для людей всё было потеряно?

Патронов не было. Бойцы взяли бескровными руками свои разряженные винтовки и приготовились к встрече незваного гостя. Но из-за деревьев медленно появилась старушка, спокойно направлявшаяся к раненым бойцам. Тяжёлая кошёлка тянула её к земле, сгибая, как тростинку.

Старушка на миг остановилась, перевела дыхание и снова пошла. Она подошла к раненым красноармейцам, опустила на землю свою тяжёлую ношу и, деловито развязывая полотенце, спросила:

— Живы, сыночки?

— Живы... — нерешительно ответил Карпенко.

— А я вам хлеба принесла и молока... Это от Ленина, — сказала она, с трудом разламывая буханку.

— От Ленина? — изумлённо, почти хором произнесли привставшие бойцы.

— От Ленина, сыночки, от Ленина... Хотя и чужеземец у нас, а Ленин жив... Весь, как есть, с вами... — серьёзно сказала она и налила первому стакан молока. — Выпей, оно парное.

— А где же Ленин молоко берёт? — с былым и вдруг вспыхнувшим озорством улыбнулся Цыган, самый молодой боец в роте. — У него что, коровы свои? — засмеялся он вслух.

— А то как же без коров! — старушка недовольно посмотрела на Цыгана. — Конечно, свои.

Цыган осекся, притих, как наказанный шалунишка. Бойцы молча пили молоко, зачарованно глядя на насупившуюся старушку. Стояла звонкая летняя тишина, и

только изредка откликалась на дубах беспокойная птица.

И вдруг, с неожиданной серьёзностью, будто даже немного испугавшись своей удивительной догадки, Цыган крикнул:

— Да Ленин-то — это, видать, колхоз? — Он даже выплеснул полстакана молока, так ошарашила его эта догадка.

Все посмотрели на Цыгана. Старушка тоже подняла глаза и тихо сказала:

— Колхоз, а то как же... Хоть немец и гуляет, а Ленин у нас жив. Коров-то он в плавнях упрятал.

И вдруг, деловито взявшись за корзинку, старуха почти прикрикнула:

— Ну, хватит баловаться. Там, у болота, мой старик дожидается. Переоденетесь и айда к своим... Мой быстро выведет.

И бойцы покорно пошли за нею.

С. ГУДЗЕНКО  
БАЛЛАДА О ЗНАМЕНИ

*«Пусть осенит вас победоносное  
знамя великого Ленина»*  
И. СТАЛИН

1

Летом  
на Украине  
каждую ночь  
звездопад.  
В заводях  
в тихой тине  
тёплые звёзды лежат.  
Мы не ценили звёзды  
и соловьев —  
ни в грош.  
Пыль набивалась в ноздри,  
в глотку —  
не продохнёшь.  
Мы дорожили махрою  
и ключевой водой.

Только глаза закрою:  
тянется шлях степной.  
Пыльные сапожища  
чёрную мнут стерню.  
Кажется,  
люди ищут  
долю свою.  
Глаз от земли не поднимут  
други мои, нелюдимы.

2

Мы отступали.  
С нами  
(в ранце у земляка)



травы на солнце блестят.

Мёртвых

пугаются лошади—  
им непонятна беда.

...На разбомблённой площади  
Ленин стоит,

как всегда.

Вот она,

с детства знакомая,  
вытянутая рука.

(Вспомнил я военкома гау-  
бичного полка...)

Вот они,

очи Ленина —  
мудрые,  
глубоки.

(Вспомнил,  
как вслед смотрели нам  
в Гомеле старики...)

Вот он,

как на знамёнах,  
самый  
великий

солдат.

(Вспомнил друзей поимённо,  
тех,  
что под Брестом лежат...)

И неуёмная ярость  
нас захлестнула так —  
немец бежал от ударов  
первых контратак.

Ленин

шёл вместе с нами,  
слушал бойцов  
в пути.

...Мы развернули знамя,  
чтобы вперёд идти.

4

Снова снег.

Третий снег.

Третий год.

И туда,  
где встречали войну,  
Нас дорога  
от Волги ведёт  
Через Днепр,  
за Десну,  
на Двину...

Этот край  
нам с июня...  
знаком.

Задыхаясь  
в горячей пыли,  
мы здесь встретились  
с Ильичём,  
гнев и ненависть  
обрели.

Вот она  
знакомая рука,  
глубина  
видавших битвы  
глаз.

...Генерал седой  
с броневика  
нам читает  
сталинский приказ...

М. ТАНК

ЗЕМЛЯ, КОТОРУЮ ОЗАРИЛ ЛЕНИН

На Беларусь бойцы идут.  
Хоть ветер стелет тучи низко,  
За тучами вдали встают  
Священные руины Минска.  
Ещё по ним ночной порой  
Шагают мрачно часовые,  
Как по могиле, где землёй  
Засыпаны ещё живые.  
Но близится возмездья час,  
Теней пугаться каты стали:  
Из бронзы образ Ильича  
Опять возник на пьедестале,  
Приветствует своей рукой  
Он орудийный гром с востока,  
То партизаны чередой  
Проходят полночью глубокой...  
А в снежных тучах слышен гул  
Как будто громовых ударов,  
И ветер в темноте раздул  
На небе сполохи пожаров.

Большак берёзовый пролёт  
За низкий небосвод унылый,  
У каждого там свой порог,  
Иль пепелища, иль могилы  
Отцов замученных, сестёр,  
И мы с тоскою вспоминаем  
Лазурный солнечный простор  
Дней юных над родимым краем,  
Никто из нас забыть не мог.

Тебя, мой край, куда сегодня  
Чрез пепелища вдаль свободно  
Большак берёзовый пролёт.  
Приветствую счастливый я  
Народ прославленных героев,  
Тебя, родимая земля,  
Ещё горячая от боя!  
Едва губами я припал  
К ломтям земли родной — и весь я  
Кольшащимся звоном стал,  
И крылья выросли у песни,  
Когда коснулся я рукой  
До струн тугих родимых сосен,  
Когда услышал над собой  
Их вечный гул многоголосый.  
Ты будешь вольной, Беларусь!  
И вновь из пепелищ, из дыма  
Трудом своих упорных рук  
Красу поникшую подымешь.  
Полюбим мы ещё сильнее  
Ту землю, что мы так любили.  
Ту землю кровь твоих детей  
В бою, как жертва, оросила,  
Ту землю Ленин озарил  
Октябрьским светом в ночь глухую,  
Великий Сталин вдохновил  
На нашу славу боевую,  
На счастье, дружбу всех племён  
Обширного родного края,  
На струн серебряных трезвон,  
На золотые урожаи!

В. ИНБЕР  
В ЭТИ ДНИ

Их тысячи, лежащих на снегу,  
Терзавших нас так долго и так люто.  
Уже мы слышим гордый гром салюта, —  
Такой мы нанесли удар врагу,  
Что он, засевший в петергофских гротах,  
На Дудергофских и иных буграх,  
В своих траншеях, блиндажах и дотах, —  
Остался там... но превращённый в прах.

И в гуле наших пушечных раскатов  
(Поистине они громам сродни)  
Мы увенчали Ленинские дни  
Ещё одной победоносной датой,  
Рука его протянута вперёд.  
И этим жестом, столько раз воспетым,  
К заветной цели, к торжеству, к победам  
Он, Ленин, призывает свой народ.  
Ликует сердце, торжествует разум.  
Идут вперёд победные полки —  
По мановенью ленинской руки  
И по веленью сталинских приказов.

С. ШИПАЧЁВ  
ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

Оно всю родину объёмлет,  
И свет его в сердцах живёт.  
И мёртвый, падая на землю,  
На древке рук не разожмёт.

Всё злей скользят по каскам пули.  
Мы бьёмся в яростном бою,  
И знамя, пыльное в июле,  
Светлеет от январских вьюг.

Оно шумит, звенит над нами.  
В боях летящее вперёд,  
Святое ленинское знамя,  
Бессмертное, как наш народ.

С. ЩИПАЧЁВ

Солнце дедам, прадедам светило,  
Люди славили его из рода в род;  
Но не в нём сейчас земная сила,  
Руки не к нему простёр народ.  
Знамя Ленина нас в бой водило,  
И опять оно — в сраженьях — впереди.  
Без него, как солнце ни светило б,  
Люди к счастью не найдут пути.

## СОДЕРЖАНИЕ

И. Сталин. О Ленине . . . . .	3
М. Горький. В. И. Ленин . . . . .	12
С. Щипачёв. Домик в Шушенском . . . . .	39
А. Кононов. Праздник . . . . .	45
А. Корнейчук. Правда . . . . .	51
А. Толстой. Хлеб . . . . .	57
В. Иванов. Пархоменко . . . . .	70
Н. Погодин. Кремлёвские куранты . . . . .	82
М. Исаковский. Докладная записка . . . . .	94
К. Федин. Рисунок с Ленина . . . . .	98
А. Твардовский. Ленин и печник . . . . .	108
Н. Островский. Как закалялась сталь . . . . .	114
В. Маяковский. Мы не верим . . . . .	123
В. Инбер. Пять ночей и дней . . . . .	125
В. Маяковский. Комсомольская . . . . .	126
В. Брюсов. Ленин . . . . .	131
С. Есенин. Ленин . . . . .	132
А. Акопян. Бессмертен Ленин. <i>(Перевод с армянского)</i> . . . . .	134
С. Нерис. Ленин не умрёт. <i>(Перевод с литовского)</i> . . . . .	135
В. Маяковский. Владимир Ильич Ленин . . . . .	136
Джамбул. Песня о клятве. <i>(Перевод с казахского)</i> . . . . .	165
Н. Тихонов. В те дни . . . . .	166
А. Прокофьев. Три поколения . . . . .	167
М. Алигер. Наш Ленин . . . . .	168
Н. Зарьян. Ленин. <i>(Перевод с армянского)</i> . . . . .	169

С. Вургун. Слово о депутатке — колхознице Басти. <i>(Перевод с азербайджанского)</i> . . . . .	171
Сулейман Стальский. Дагестан. <i>(Перевод с лезгинского)</i> . . . . .	172
Дороженька. <i>(Русская песня)</i> . . . . .	175
Русские частушки о Ленине и Сталине	176
Соколы. <i>(Украинская песня)</i> . . . . .	177
Ленинская правда. <i>(Белорусская сказка)</i> . .	178
Воины и Ленин. <i>(Перевод с узбекского)</i> . . .	181
Он видел на тысячелетия вперёд. <i>(Азербайджанская песня)</i> . . . . .	183
Джамбул. Ленин и Сталин. <i>(Перевод с казахского)</i> . . . . .	184
Я. Купала. Славлю я партию Ленина — Сталина. <i>(Перевод с белорусского)</i> . . . . .	186
М. Рыльский. Портрет Ленина. <i>(Перевод с украинского)</i> . . . . .	187
А. Сурков. Ленин. . . . .	188
М. Рыльский. Ленин с нами. <i>(Перевод с украинского)</i> . . . . .	189
А. Сурков. Живая душа Ильича . . . . .	190
И. Сельвинский. Баллада о ленинизме . . . .	192
И. Мосашвили. Ленин на броневике. <i>(Перевод с грузинского)</i> . . . . .	196
С. Щипачёв. Из бронзы Ленин . . . . .	197
Н. Тихонов. Ленинское знамя . . . . .	198
С. Васильев. Улица Ленина . . . . .	199
С. Головановский. Подарок от Ленина . . . .	202
С. Гудзенко. Баллада о знамени . . . . .	205
М. Танк. Земля, которую озарил Ленин. <i>(Перевод с белорусского)</i> . . . . .	209
В. Инбер. В эти дни . . . . .	211
С. Щипачёв. Ленинское знамя . . . . .	212
С. Щипачёв. Солнце дедам, прадедам светило...	213



Отпечатано фотоспособом Военным Издательством Народного  
Комиссариата Обороны под наблюдением редактора  
майора **Гаврилина И. Г.**  
Технический редактор **Моисеенко Д. Г.**  
Корректор **Курашов А. А.**

---

Г 774643. Подписано к печати 18. 9. 1945 г. Изд. № 538/Л.  
Объем 13,5 п. л. Зак. № 3662.

В настоящем издании книги „О Ленине“, отпечатанной фотоспособом, обнаружены следующие опечатки:

Страница	Строка текста	Напечатано	Следует читать
45	8-я снизу	„схатила“	„схватила“
105	20-я снизу	„конечноп“	„конечно“
108	3-я сверху	„пропросту“	„попросту“
187	7-я сверху	„Потрет“	„Портрет“



